

НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЖЮЛЬ РОМЭН

О
БОР
МОТЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД
1 9 2 3

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЖЮЛЬ РОМЭН

ОБОРМОТЫ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1925



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

В литературе и общественном мнении старой Европы — до возникновения фашизма и неизбежного вовлечения буржуазной молодежи в политическую борьбу — существовал взгляд на студенчество как на привилегированную касту, временно освобожденную от преклонения перед авторитетами и государственными установлениями, условно свободную и безобидно оппозиционную по отношению к мировоззрению господствующих сил. Лучше всего это отношение передается немецким выражением *austoben*: студенчество должно перебеситься. На студенческие шалости глядели сквозь пальцы, — будь то простое буйство в кафе, глумление над профессором или даже издевательство над полицейским и бюргерским порядком, — и подобная снисходительность была более чем благо-разумна и оправдана необходимостью. Нужно помнить, как и из кого формируется западное студенчество. С помощью каждого нового студенческого набора буржуазия получает и усваивает новые соки из полубуржуазных, полуремесленных и даже крестьянских слоев и незаметно растворяет их. Эти наборы господствующим классам необходимы — и что же удивительного, если последние проявляют некоторый педагогический такт, соглашаясь на безобидное буйство молодежи, смешанной и подозрительной по социальному составу, пока она не будет обработана под нужный цвет и закал колесами высшей школы.

„Обормоты“ Жюль Ромэна завершают, во французской литературе, длинную цепь студенческих буйств и мистификаций, начинающуюся еще в пятнадцатом веке подменой вывесок и глумлением над городской стражей, о которых рассказывает мэтр Франсуа Виллон. Но „Обормоты“ Жюль Ромэна, по глубине мистификации, по силе темперамента, по далеко не безобидному яду своих шалостей, позволяют поставить вопрос: сможет ли такое студенчество, даже получив нужную обработку, делать дело буржуазии и не является ли оно уже по-настоящему неблагонадежным и социально неблагополучным?

Все герои этой книги — будущие инженеры или юристы, нотариусы или адвокаты. Все они получают из дому деньги, учатся между попойками и, в конце концов, добьются своих дипломов. Но замечательно при этом, что ни один из них не относится серьезно к своей положительной миссии в обществе и даже не в состоянии представить себя наделенным полномочиями власти или общественного положения.

В лице всех этих молодых людей мы видим как бы больших детей. Их отношение к взрослым, к миру политики, силы и власти, при всей своей напряженности и активности, — безответственно. Больше того: как группа, как содружество обормотов, они противопоставляют себя всему миру, и в этом возвеличении группы, в этом любовании первоначальным кристаллом симпатии и солидарности сказывается одно из глубочайших свойств художественной личности Жюль Ромэна. Группа обормотов вычислена и вычерчена писателем с правильностью геометрической фигуры. Это — один из многочисленных и едва ли не лучший опыт социальной кристаллографии Жюль Ромэна. Конечно, не будь вожака всей этой группы — Бенена, — ее не существовало бы. Более слабая инициатива у Брудье и Лесюера. Конечно, такая группа — соединение временное, позволяющее каждому из участников возможно дольше сохранить свое своеобразие и независимость. Распад группы обормотов, которая держится только стихийной симпатией и личным влиянием Бенена, — неизбежен. И после этого распада каждый из них станет на свое место. Но все же остается героическая эпопея жизнерадостных французских „школяров“, наградивших тремя крупными щелчками государство, церковь и армию. Время действия обормотов — между франко-русским альянсом и войной, т.-е. золотые годы буржуазного порядка. Обормоты объявляют этому порядку как бы веселый террор. Три покушения, три мистификации, составляющие фабулу „Обормотов“, — не только вспышки остроумия и буйной любви к жизни, не только безответственная студенческая игра, но целая программа творческой жизнерадостности и физиологического отвращения к господствующему порядку... Прошло всего несколько лет, и сейчас обормоты уже невозможны. То же брожение молодости сейчас проявилось бы иначе, но, как завершение бессознательно революционного бунта европейского студенчества, — „Обормоты“, несомненно, книга весьма значительная.

I.

УЖИН.

— Хозяин!

— Чем могу служить?

— Подите-ка сюда. Вы нам нужны. Мы хотим выяснить, вмещают ли ваши неклеименные манерки полный литр. Этот вот господин, с красным носом утверждает, что да, а я говорю, что нет. Мы держим пари.

— Извините, господа, но прав вон тот господин.

— Какой господин?

— Как бы сказать? Тот самый... у которого, как вы изволили...

— У которого красный нос?

— Хозяин, вы не смеее примазыватьея к нашим шуткам.

— Я ничего... я и не думаю говорить, что у господина красный нос... я даже полагаю, что нос у господина совсем не так уж красен!

— Довольно. Речь идет о ваших манерках, а не о моем носе.

— В моих флягах литр содержится сполна.

— Ба!..

— Простите! Простите! Я потребовал у нашего симпатичного амфитриона простой справки, но отнюдь не арбитража. Как арбитра я его отвожу: он — явится

одновременно и судьей, и заинтересованной стороной; к тому же, он знает, что источник счастья и добродетели — только в нравственном благе. Мы оплачиваем эти горшки как настоящие литры. Он предлагает нам пить их в качестве настоящих литров. Таким образом, он грабит нас только материально, что неважно. Интересна лишь духовная сущность вопроса.

— Господин студент!

— Да, хозяин, ваш очевидный интерес, — очевидный не для этих господ, которые пьяны и не чувствительны к доказательствам, но для нас с вами, — ваш очевидный интерес наделять свои рюмки (я подчеркиваю: рюмки) легендарной емкостью.

— О!..

— Простите.

— Я продолжаю. Пусть принесут литр, настоящий литр, природный литр.

— Мне...

— Вы меня уже поняли: стеклянный литр с клеймом... заверенный солидной фирмой... Литр Перно, например... но пустой, разумеется.

— Пойду поищу, господя; но должен вам заметить...

— Поторопитесь...

Приоткрыв дверь, хозяин исчез в полумраке, откуда густо тянуло анчоусным соусом.

Зачинщик пари оглядел присутствующих. Потом, тоном человека, прозревшего сквозь призрачную оболочку сущность вещей, он произнес.

— Какой мордоворот! какой мордоворот! Вы похожи на пассажиров омнибуса.

Переглянулись. Почуяли тяжелую обиду, но глубины оскорбления не мог измерить никто. Кто-то принципиально огрызнулся. Прочие, глумясь, загоготали:

— Бедняга Бенен! До чего он, однако, налился!

Бенен подмигнул.

— Понял, наконец: у вас омнибусная глотка.

Развить свою мысль он, конечно, не мог бы. Но радость удачного сравнения ударила ему в голову. И он выпил добрый глоток в честь своей удачи.

Он даже поперхнулся: все тело его сотряслось от сдержанного смеха.

Открылась дверь, — и из анчоусного полумрака выплыл хозяин.

— Я не нашел пустого Перно, но вот вам стеклянный литр, — он вас вполне устроит.

Бенен нахмурил бровь.

— Вы смеетесь над нами, хозяин. Кто мне поручится, что ваш стеклянный литр — действительно литр?

— Другого у меня нет, господь!

— Может быть, вы смастерили нарочно ваш стеклянный литр!

— О!..

Эта болезненная мнительность вызвала общий протест. Хозяин с литром в руке не двигался. К нему обернулся Бенен:

— Чего же вы ждете?

Один из оборотов зашевелился:

— У меня идея!

— Слушаем!

— Вместимость моего желудка в точности равняется двум литрам. В два счета я опрокину две такие кружки. Если я при этом почувствую явную потребность отрыгнуть — считаю себя побежденным, в противном случае — доказана ваша ошибка.

— Ты смеешься над нами!

— Кто тебе позволит выпить две кружки... Хочешь пить, так плати.

— Пьяная лисица!

— Хорошо. Вы отвергаете научные методы. Они оскорбляют вашу рутину. Так и быть, используем

более грубый способ. Мартен, полезай на стул и разгляди как следует газовую горелку.

— Но...

— Поторопись!

— Что я должен там разглядеть?

— Не пламя, а колпак!

— А потом?

— Различишь ли ты в двух сантиметрах от верхнего ободка фабричную марку?

— Нет... Ах, да!

— Разгляди внимательно. Не видишь трех молоточков?

— Да. Как будто.

— Перед тобой колпак от лампы типа „Три молоточка“.

Дрожь восхищения потрясла собрание. Затем наступила покорно-выжидательная пауза.

— Мартен, подай мне колпак от лампы!

— Но, как же?... я обожгусь...

— Бери его снизу... через салфетку... или через платок. Да поворачивайся живей!

Мартен добросовестно исполнил приказание. Он слез, осторожно протягивая колпак, словно змею или краба. Бенен ловко его перехватил, поставил на середину стола и сказал:

— Подуем на него, чтобы он охладился.

Он подул первым и так убедительно, что другие последовали его примеру.

— Теперь готово. Мне нужен серьезный человек. Гюшон! Подставляй руку, — да всей ладонью.

— Для чего?

— Не беспокойся.

— Как так? Ты хочешь его пристроить на моей ладони? Ну, нет!

— Не ищущай моего терпенья.

— Пусть! Ты пьян. Лучше не буду спорить. Забавляйся.

Бенен поставил ламповый колпак прямо на протянутую ладонь, убедившись, что нижний ободок плотно прилегает к руке Гюшона.

— Лесюер, дай мне свою кружку, полную кружку, пожалуйста.

Бенен, движением жреца, поднял кружку, наклонил ее и погрузил ее носик в отверстие стеклянного колпака; вино потекло. У Бенена был вид священника, но кружка похожа была на тучного господина, которому подпирают голову, пока его тошнит.

— О! Это отвратительно.

— Ты издеваешься над всей компанией.

— Пропало наше белое вино.

— Он губит белое вино!

— Гюшон! Идиотство с твоей стороны ему помогать!

Гюшон улыбался.

Бенен в самом разгаре прервал свой опыт. Он сказал Гюшону:

— Эй, ты, не двигайся!

И обратился к оборотам:

— Господа, вы тупицы! Разве вы не знаете, что этот колпак—модель номер восемь марки „Три молоточка“.

— Ну да, знаем! Давным-давно знаем. С младенчества знаем. Что же дальше?

— Колпак газовой лампы, модель номер восемь, типа „Три молоточка“, содержит в точности пол-литра.

Открытие ошеломило аудиторию.

Бенек продолжал.

— Если кружка дважды наполнит ламповый колпак до краев—я проиграл.

И снова он приступил к своей роли экспериментатора. Но Гюшон потерял интерес к опыту, утратившему обаяние таинственности. Он отдернул руку. Перелом в его настроении имел наихудшие последствия. Вино, не сдерживаемое больше доньшком ладони, с энер-

гией внезапного поноса, расплескалось по скатерти, разбрызгалось мелкими мазками по салфеткам, брюкам и по полу.

Все, без колебаний, возложили ответственность на Бенена. Раздались крики. Кто-то сказал:

— Бенен, это падет на вашу голову.

Другой прибавил:

— Выбросим его за дверь.

Совет был принят сочувственно. Бенена оторвали от стула. Подталкивая, довели его до стеклянной двери, — на двор.

Он отбивался: изрыгал проклятия.

— Вы негодяи! Вы проиграли пари! Я жертва вашего пунического вероломства!

Все было напрасно. Выбросить его стоило буйной компании не больше труда, чем курице снести яйцо.

— Наконец-то! И ничуть не жалко.

— Может, теперь будет поспокойнее.

— Мне облили ногу.

— Он издевался над нами!

— Вино внушает ему идиотские мысли.

Ламендең покачивал головой. Казалось, носом своим он резал на ломтики воздух. У Ламендена была круглая, как яблоко, голова и острый, длинный нос, изогнутый как нож, взрезающий яблоко.

— Лишний стаканчик делает его убийцей, — сказал Брудье.

Он выпучил глаза, вращая белками. Усы его воинственно топорщились, толстые пальцы барабанили по скатерти.

— Он здорово накачался, — прибавил Лесюер, и ноздри его раздувались в дремучих волосяных зарослях, скрывавших его лицо.

Голова его, которую трудно было, даже мысленно, приставить к телу, походила на лаящую дворняжку, забравшуюся на комод.

— Бывают минуты, когда он переходит границы, — сказал Омер, обормот с красным носом.

Говоря откровенно, нос его был не более красен, чем многие другие, но остальная часть его лица отличалась цинковой бледностью. По сравнению с ней, все остальное казалось красным.

— Хотел бы я знать, — сказал Гюшон, — чего он хотел со своим стеклянным колпаком?

Гюшон созерцал розоватый кружок, выдавленный на его ладони. Глаза его светились под круглыми большими очками, словно два редкостных предмета, покрытых для большей сохранности стеклом. Его гладко выбритая, рыхлая и белая физиономия казалась прослойкой ваты, в которой бережно покоятся музейные редкости.

— Я, признаюсь, ничего не понял, — сказал Мартен, чья наружность не представляла ничего характерного.

На минуту обормоты умолкли. Бенен присутствовал среди них более, чем когда-либо. Он был владыкой их душ. Воздух был заряжен им, как грозовой тучей. Стеклянный колпак, оставленный им на столе, пел: казалось, звуки бигфона вырывались из этого сосуда.

Оскудевшая беседа с трудом возобновилась.

Вдруг скрипнула дверь, и вошел Бенен.

Всех поразила его внешность. По всей видимости, он вылез непосредственно из помойного ящика. Жирные пятна и звездообразные сгустки пыли пристали к его одежде. Руки его и щеки были вымазаны сажей. Большой кусок паутины ниспадал бахромой с головы, наподобие крестьянской прически. Паучья пряжа свешивалась на лоб, щекотала усы, дрожала у самых губ.

Обормоты разразились криком. Бенена любили. Хотелось его расцеловать. Какая изобретательность! Какая бескорыстная живучесть! Только что его прогнали за великолепную шутку; он же мстит за обиду еще лучшей шуткой, великодушно жертвуя собой.

Приласкали „старика Бенена“, похлопали по животу. Усадили в центре собрания, в самый узел, откуда лучится тепло, в точку, куда неизбежно устремлены все взоры. Им любовались.

Он проговорил, немного глухо:

— Чего вы гогочете?

Соседи стали наперебой ему объяснять, что общая радость носит лестный для него характер, что не только не следует обижаться, но... Он прервал их:

— Да, я снова с вами. Это совсем не смешно. Надеюсь, вы не собирались отправить меня в потусторонний мир? Тот свет еще не начинается за этими дверями. Заметьте, что я считаю вас скотами. И будь у меня время и охота, я бы свернул вам всем шею.

— Ого! Посмотрим!

— У меня нет времени.

Он поднялся.

— С тех пор произошло непредвиденное событие. Я был на чердаке.

Засмеялись, — но сдержанно, чтобы его не оскорбить.

— Я был на чердаке, чем, к слову сказать, объясняется несколько удивившее вас преобразование моего туалета. И что же, господа, на что я наткнулся?.. На карту Франции.

— Разве чердак освещен?

Бенен вытащил из кармана коробку восковых спичек.

— Она пуста. Я спалил тридцать две спички. Но я разглядел!

Он ударил кулаком по столу.

— Я разглядел двадцать шесть департаментов! Двадцать шесть департаментов, господа, расположенных рядом, бок-о-бок, в пристойном порядке, — таким неслыханным образом, что вы себе и представить не можете! Двадцать шесть французских департаментов! Двадцать шесть департаментов — с мысами, хребтами, кряжами, полосками, фестонами,

закорючками, когтями, ногтями и, в то же время, с расщелинами, швами, выбоинами, провалами, дырами; все это громоздится, льнет друг к другу, кишит одно в другом и трется щетиной друг о друга, как куча свиней. И странное дело: посередке каждого департамента был глаз.

Пробежал глухой ропот.

— Круглый, по-настоящему сощуренный глаз, с именем, надписанным справа. Каждый раз, когда чиркала спичка, новый глаз вспыхивал в темноте. Тридцать два раза я видел глаз! Все это меня взбесило. Тогда, господа, несмотря на ненависть к вам, обуревавшую меня на чердаке, несмотря на гнусность вашего поведения, я пожалел о вашем отсутствии. Мне захотелось, чтобы обормоты были со мной. Такое зрелище, господа, не могло бы оставить вас равнодушными. И, может быть, так же, как и меня, вас поразило бы выражение двух из этих глаз, выражение, неуловимое в сущности, но показавшееся мне провокационным. Я намекаю, — он понизил голос, — на глаз, именуемый Иссуаром, и на глаз, именуемый Амбером. Для вас эти глаза — ничто. Вы еще не встречались с их взглядом. — Здесь Бенен замурлыкал про себя: — „Я сошел в долину, чтобы вы поднялись на гору. Я молчу, чтобы вы заговорили“¹⁾.

Бенен стоял, сгорбившись, опустив левую руку и протягивая правую; зрачки его глядели неподвижно, волосы экзотически растрепались.

Стол доходил ему до пупка. Группа обормотов-субу-тыльников льнула к Бенену и тянулась к нему, как крыса в погребе тянется к свечке.

Он шагнул. Все встали.

— Брудье! Попроси у хозяина свечу и догони нас!.. Господа, пожалуйста за мной.

¹⁾ „Заратустра“.

Они вышли, пересекли маленький двор и стали подниматься по лестнице, тускло освещенной медной лампочкой.

Гюшон шел позади Бенена. Глаза его казались „ценными посылками“, которые он бережно нес в темноте.

За Гюшоном следовал Омер. Нос его был значительно краснее, чем обычно, но и красное пятно теряется ночью.

Ламенден шел по следам Омера. Голова его сильно походила на яблоко, — одно из тех, которые падают в роскошных ресторанах. Любой фруктовый нож может увязнуть в таком яблоке.

За Ламенденом двигалась какая-то дворняжка. Но странное дело: эта дворняга была посажена очень высоко, и не видно было ее лап.

За Лесюером, ступенька за ступенькой, карабкался Мартен. О нем сказать нечего.

Подождали Брудье. Он подошел с лампой, пламя которой плясало.

Прошли на чердак. Он был скорее запутанного, чем мерзкого вида. Аналитическое внимание могло различить шкаф без дверцы, дверцу без шкапа, русский флаг и бюст Феликса Фора на подставке от „бидэ“. Но в поле зрения сразу вспыхивала карта Франции. Холщевая бумага, казалось, заматерела. Две деревянные черные перекладки, одна — наверху, одна — внизу, туго натягивали ее. Карта держалась на гвоздике, на простой бечевке. Она изображала восемьдесят шесть департаментов и множество моргающих глазом городов.

Обормоты нашли ее великолепной.

— О, глаза!—воскликнул Бенен.—Их здесь больше, чем в похлебке бедняка и чем в хвосте павлина!

Он протянул руку.

— Иссуар! Амбер!

Все в глубине души согласились, что именно Иссуар и Амбер выглядели как-то странно.

— Чем мы ответим, господа, на этот вызов? Иссуар и Амбер дерзко глумятся над нами. Это нельзя так оставить.

— Можно на них плюнуть, — предложил Гюшон.

— У меня голубой карандаш, — сказал Брудье: — можно выкрасить Амбер в голубое.

— Можно дополнить имя Иссуара.

— Написать мэру.

— Я не представляю себе, что можно сделать, — сказал Мартен.

Все были подавлены. Брудье тербил усы, Бенен в различных местах почесывал голову, а Омер растирал свой нос, и было страшно, что краска пристанет к его пальцам. Гюшон снял очки, чтоб протереть стекла. Ламенден, подперев подбородок, казалось, взвешивал отборный плод, — свою голову.

— Идея, — сказал Лесюер. — Пусть каждый из нас напишет четверостишие на рифмы: Иссуар — Амбер — писсуар — камамбер.

— Очень хорошо!

— Превосходно!

— Карандаш!

— Бумагу!

— Письменные принадлежности — внизу.

Загромыхали вниз по лестнице. Депутация заставила хозяина безоговорочно выдать все чернильницы и все перья. У Гюшона было вечное перо.

— Мы даем друг другу пять минут. Часы на стол.

— Можно переставлять рифмы?

— Ну, конечно...

— Тс! Тс!

Плотным пологом легло на них молчанье.

— Стоп!

— Я кончил.

— И я кончил.

Вставочки попадали на стол. Мартен, облизывая губы завернувшимся налево кончиком языка, чистенько перечеркивал пять написанных слов.

— Эй, ты, Мартен! Пять минут прошли для тебя, как и для всех.

Мартен переместил язык слева направо и положил вставочку.

— Ламенден! Слушаем тебя.

— Почему я первый? А Гюшон?

— Гюшон!

— Гюшон!

Гюшон встал, не заставив себя упрасивать. Он снял очки. Всем стало немного жутко: казалось, глаза его сейчас упадут на стол с дробным звуком, как мелкие камушки. Ничего, подобного однако, не произошло. Гюшон протер очки, надел их снова и заговорил женственно мягким голосом:

— Как вам понравится сто одиннадцатая строфа моей оды: „За мной, Овернь“?

Вода, бегущая хрустальным писсуаром,
Твой мужественный ток напомнил мне Амбер,
Откуда солнце — круглый камамбер —
Я наблюдал над Иссуаром!

— Слабо!

— Даже очень слабо!

— Дорогой Гюшон, ты прирожденный самец. Томные нежности тебе не к лицу.

— Горю желаньем испытать твою женственность, Бенен!

— Слушаем, Бенен!

— Потом. После Брудье!

Брудье поднялся и произнес:

Каштановый навес над томным писсуаром,
Багрянцем осени окрашенный Амбер;
Гармония листвы повеет Иссуаром,
И сердце льнет к нему, как нежный камамбер!

- Это лучше!
- Искренне!
- И музыкально!
- И чистота стиля!
- Вот, именно, чистота!
- Гармонический вздох Жана Расина!
- И рифмы, как будто, почище.
- Какая наглость. Он говорит о рифмах!
- Долой тухлявый классицизм! — крикнул Ламенден. — Послушайте лучше обращение из моей поэмы: „Безумные супрефектуры“:

Зарницы городов маячат в Иссуарах,
И в мареве равнин заразы камамбер!
Ты пожираешь ночь, Амбер —
Безумцев кузнецов в горящих писсуарах!

- Есть размах. Но какое варварство!
- Слишком много красноречия.
- Недостаток вкуса бьет прямо в нос. Рыгать камамбером! Так не говорят. И, вообще, — вводить камамбер в поэзию!..

— Сам ты хорош! А ты о нем не говорил?

- Нет... впрочем, да: словцо сорвалось с моего пера.

- Камамбер, в поэтическом обороте...
- Он был преображен гармонией стиха!
- Вы мешаєте читать Омеру!
- Омер! Омер!

Голос Омера прозвучал меланхолически, с оттенком американской экзотики:

- Отрывок из „Святой Урсулы Иссуарской“:

О, годы! О, часы! О, бремя Иссуара!
Проточная вода в воронке писсуара!
В прорывы бытия брось лилию, Амбер!
Амбер! Кто вплел в твой герб позорный камамбер?

- Гм!
- Разрешился!

— Следующий!

Поднялся Лесюер, — дворняжка, взобравшаяся на пьедестал крахмального воротничка. Он пролаял:

— Прелюдия „Жалоба жандарма“: к песне третьей из части второй „Единой поэмы“.

Эфирный холодок в предверьи писсуара,
Лия всемирное молчанье Иссуара,
Убьет жандармских ног пахучий камамбер.

— Конец!

— Нельзя дышать!

Нет больше слов—

Амбер!

— Bravo!

— А!

— Доехали! Наконец-то!

— Какая четкость!

— И какая гибкость в обращении с реалистическим материалом.

— Кто не пожалеет твоего жандарма?

— Какой пёсик умный. Не хватает ему только дара слова.

— Тебе, Бенен, советую помолчать.

— А я предлагаю ему взять слово. Его очередь!

Выступил Бенен.

— „Четвертая молитва к департаменту Пюи де Дом“:

Ненавижу Амбер: это проклятый сыр,
Личинками червей кишаший камамбер;
Но Иссуар — везде и всюду нам укор:
Забронированный от взоров писсуар!

— И это по-твоему буримэ?

— Ваши рифмы, господа, все налицо. Я не пропустил ни одной: нужно их только поискать!

— Мошенник!

— У!..

— Презираю вас.

Иные нашли, что Бенен ударился в клерикализм, другие, воздерживаясь от оценки по существу, превоз-

носили форму четверостишья. Ламенден подвел итог настроениям.

— Огромное достоинство этой вещи в том, что она оскорбляет Амбер и Иссуар. Все мы впали в дурацкую ошибку и воспели эти городишки, поклявшись смешать их с грязью.

— Я ни в чем не клялся.

— Нет, косвенным образом клялся.

— Простите, простите, — сказал Лесюер: — боюсь, что вы недооценили удельный вес „Жалобы жандарма“, прелюдии к песне третьей из части второй „Единой поэмы“. Текст беспощадно суров к упомянутым городам.

— Ну что ж, дооценивай за нас!

— Легче поверить тебе на слово, чем отправиться туда самим!

Бенен волновался. Он хотел снова завладеть собранием и ждал минуты, чтоб наложить на него свою руку. Он успокоил шум движением человека, отгоняющего от лица табачный дым.

— Речь Ламендена, — сказал он, — нашла дорогу к моему сердцу. Его мнение чрезвычайно веско. Как всегда, эта физиономия, состоящая из двух полушарий, испражняется лишь хорошо переваренными мыслями.

— Спасибо!

— Единственный из вас, я унизил Амбер и Иссуар. Я исполнил обещанное вами всеми. Но подобное выступление лишено действенной силы. Что такое буримэ? Безобидное оружие. Другое дело, если бы рифмы были напитаны ядом кураре!..

Он задумался на мгновенье.

— Я не рассчитываю напечатать свои стихи в „Вестнике Правительственных Распоряжений“. Между тем, из всех ежедневных парижских газет, она одна проникает в интересующие нас два захолустья. Что касается местных газет, — „Амберского Республиканца“ и „Иссуарского Маячка“, — то есть полное основание

думать, что они не печатают вовсе стихов, а если бы и печатали, то безусловно отвергли бы нерифмованные строки, как декадентские, по мнению директора амберской гимназии.

— Так что же?

— А то, что сочиненные нами строки, рифмованные или нет, являются утверждением, рассчитанным на абсолют, вне категорий времени и пространства. Можно справедливо ими гордиться, но люди активного темперамента поискали бы другую, менее номенальную месь.

— Предлагай же!

— Изобретем!

— Можно, — сказал Брудье, — пустить в парижские газеты заметку о семнадцати случаях азиатской холеры в Амбере и тринадцати заболеваниях бубонной чумой в Иссуре.

— Не плохо!

— В форме постскриптума, заметка извещала бы об эпидемии трахомы и прилипчивой эпизоотии сапа в окрестных деревнях.

— Отлично!

— Можно еще, — сказал Гюшон, — с помощью подтасованной, но правдоподобной статистики рогатых мужей во Франции за последние десять лет, доказать таблицами, кривыми и графическими схемами, что из всех французских округов наибольшее количество рогатосцев, на тысячу жителей и на квадратный километр, дают Иссур и Амбер.

— Можно, на худой конец!

— Можно, — сказал Лесюер, — обратиться к Жану Экару и получить от него согласие прочесть цикл лекций в означенных двух городах.

— Да, но все-таки...

— Как? Ты ничем не соблазнил?

— Выкладывай свои проекты.

— Хотите знать мое мнение? — сказал Бенен. — Прежде всего, я думаю, что такие дела не решаются снаскоку. Нужно взвесить и изучить обстоятельства. Затем, я отказываюсь что бы то ни было предпринять, не посоветовавшись с сомнамбулой!

— Ты глумишься над нами!

— С сомнамбулой? Это что такое?

— Господа, теоретически я не верю в ясновиденье лунатиков. Тем не менее, я не решаюсь ни на один важный шаг, не спросив у них совета.

— Ты последователен!

— От природы я нерешителен. Ничтожнейший поступок я взвешиваю предварительно на весах, с каждым годом все более чувствительных. Самые точные весы меня еще не разуверяют. Особенно по утрам, только что проснувшись, я терзаюсь мнительными предположениями и пессимистическими выкладками. По вечерам, часам к одиннадцати-двенадцати, мой кругозор расширяется, воля моя приобретает как бы кавалерийский аллюр, является независимое восприятие жизни, наперекор опасности. К несчастью, все решения я принимаю по утрам. Это у меня правило. Таким образом, я был бы подвержен вечной нерешительности, если бы не сомнамбулы. Я отправляюсь в их логово. Я вопрошаю их. Чаще всего, я получаю темный и уклончивый ответ; тогда я беру моего оракула в работу, загоняю его в тупик, сжимаю тисками альтернативы: да или нет? Он высказывается. И это уже облегченье. Если нет, я отказываюсь от своих намерений и глазею на извозчиков, если да — я кидаюсь в омут действия. Посылаю к чорту колебания и страхи! Полагаю успех уже достигнутым и цель — осуществленной. Остается разработать лишь подробности плана. Эта призрачная вера в сверхчужденный мир не раз меня спасала.

— Что ж, мы согласны! Мы созрели для мести! Остается выработать метод действия!

— Согласен. Если бы ты не перебил меня, ты бы знал уже, что среди сомнамбул я различаю две категории. К первой — без нее обойтись невозможно — я обращаюсь за советом, когда решаю. Но, когда выбор уже сделан, случается, что ум мой, обычно изобретательный, останавливается перед необходимостью действовать, как теленок перед парой коньков. Не знаю, что предпринять. Все дороги ведут в Рим. Но не забудем, что совсем без дороги туда не попадешь. Возьмем пример из повседневной жизни. Ты решил украсть два миллиона золотом из подвалов Французского банка. Хорошо. Но как взяться за дело? У сомнамбул женского пола я спрашиваю только: да или нет? У сомнамбул - мужчин я рассчитываю получить указания технического характера, какой-нибудь способ или трюк. Вот как раз то, что нам нужно. Бежим к сомнамбулу-самцу.

Обормоты молчали.

— Не хочу вводить вас в невыгодную сделку. Изречения этих людей, по самой сути их профессии, отличаются сибилической темнотой. Их советы не блещут ясностью обнаженного клинка. Но их пифийские пары возбуждают мое воображение. Я комментирую их с трудолюбием и с кропотливой изобретательностью иенского профессора, я на все стороны переворачиваю клочок оброненной фразы. И что-нибудь всегда мне открывается!

— Я достигаю тех же результатов без всякого труда, — заметил Гюшон.

— Ты хочешь сказать, что я воплощенный слух!

— Нет... Но мне достаточно простой булавки и „Маленького Ларусса“. В левой руке — „Маленький Ларусс“, в правой — булавка. Я закрываю глаза и вою булавку в толщу словаря. Потом я раскрываю глаза и разворачиваю книгу на странице, отмеченной булавкой. Читаю первое слово слева. Иногда — о сча-

стье! — я попадаю на красную строку. Начинается красноречивое, выразительное адажио: „Блаженны нищие духом“, „Карфаген должен быть разрушен“, „Пей, пока пьется“ (по-латыни), „Славься, Британия“... Если жребий выпадает не столь удачно, я довольствуюсь простым словечком, как „контр-эскарп“, „неискоренимо“, или имячком, вроде „Навуходоносор“. В таких случаях это значит, что дело пойдет туго. Придется брать приступом, штурмовать. Подготовимся... „Неискоренимо!“ Это предостережение. Ничего не пропишешь. Ве́рная неудача. А „Навуходоносор“, гигант на глиняных ногах, говорит сам за себя: тут и думать нечего.

— На мой взгляд, — сказал Бенен, — пророчества „Маленького Ларусса“ — недостаточно высокая марка. Но, так и быть, начнем с них. Потом устремимся к сомнамбуле.

— Хозяин!

— Что угодно господам студентам?

— Есть у вас „Маленький Ларусс“?

— К сожаленью, нет, господа, но есть „Боттен“...

— Давайте „Боттена“!

— И булавку!

— Простую или английскую?

— Простую!

— Кто же проделает опыт? Чья девственная рука?

— Мартен!

— Правильно! Мартен!

Мартен, услышав лестное предложенье, вздрогнул. Проблеск оригинальности появился у него на лице. Обнаружилось, что у него маленькие, миндалевидные глазки и что подбородок его, с выразительной поперечной складкой, похож на зад младенца.

Он поднял десертное блюдо, придавленное тяжестью массивного „Боттена“. Булавка выскользнула из его дрожащих пальцев.

Над ним много глумились. Перепачкавшись вареньем, он погубил совсем свой беленький носовой платок. В поисках булавки ему пришлось ползать, копошиться, пресмыкаться под столом, так что кровь прилила к голове. Наконец, булавка нашлась.

— Мартен, положи „Боттена“ на стол. Так! Теперь закрой глаза. Булавку держишь? Работай!

С почтительной дрожью, Мартен, закрыв глаза, поднес булавку к обрезу „Боттена“. Свершилось чреватое последствиями погружение булавки в толщу книги.

— Готово! Не двигайся! Не прикасайся!

Подобно человеку, разбивающему догоревшую головню, Гюшон раскрыл словарь в местах, отмеченных жребием. Он прочел:

— Пиршество. Иосиф. Военные мундиры. Церковные ризы. Принадлежности церемониала.

Глубокое молчанье было ответом на слова оракула. Переглядывались. Все думали, не смея высказать того вслух, что боги изъяснились весьма туманно.

Мартен все еще сидел с закрытыми глазами.

— Я не узнаю здесь, — саркастически заметил Лесюер, — прославленной французской ясности.

— Однако, это прозрачней твоего четверостишья!

— Ты находишь?

— Мне кажется, — сказал Гюшон, — нас сбивает с толку многословие оракула. Принципиально важно только первое слово. Первое и второе... Пиршество... Иосиф... Вот ключ к тайне.

— Обратимся к Лесюеру: он специалист, — сказал Брудье.

Лесюер принял вызов.

— Хорошо. Сейчас вам станет ясно, как день, то, что понял бы и малый ребенок, читающий по складам. Проанализируем. П и р — звук отступления, осаживающий звук неудачи и разгрома... Шество... гм... Это не важно! Это — какой-то выдох. Это, вообще, конец.

Попробую выразить свое ощущение в стихах, подходящих к вашему эстетическому уровню :

Высокая гражданственность Амбера—
Республиканских урн блестящий писсуар;
Но если мы затронем Иссуар,—
Не миновать зловонья камамбера!

Камамбер является поэтической равнозначущей...

— Омера...

— Превосходно...

Мартен все еще не раскрывал глаз.

Бенен воспламенился :

— Боттенология совершенно нелепая дисциплина. Если бы еще у вас был провинциальный „Боттен“ ! Но как можно полагаться на „Боттена“ с берегов Сены, когда речь идет об Амбере и Иссуаре !

Это соображение показалось чрезвычайно убедительным.

— Как же быть? — сказал Брудье, и усы его размякли.

— Как быть? — сказал Гюшон, снимая очки.

— Как быть? — сказал Лесюер, запуская руку в бороду.

— Остается только сомнамбул. Идем !

— Сейчас полночь !

— Полночь ! В двенадцать часов ночи ты потащишь нас к сомнамбулу !

— Почему нет ? Сомнамбул, которого я имею в виду, живет по соседству. Он единственный в своем роде. Назвать его сверхъяснбвидающим будет фигурой риторического умаленья. Сейчас он, должно быть, спит. Душа его бодрствует на сверхчувственном помеле. Мы перехватим ее на обратном пути с ночного дежурства. Идем ! Вставайте !

Мартен раскрыл глаза.

Поднялись. И, внезапно, к обормотам вернулось сознание, что они пребывают в определенной точке

пространства. Они убедились воочию, что находятся в районе фортификаций и что каким-то образом их окружает Париж. Наметились связи и соотношения вещей. Вышли далеко не в первую попавшуюся дверь.

* * *

Пришли.

Посреди горбатого переулочка стоял дом: целая башня этажей, — слишком много этажей, на глазомер загулявшей банды. Как полагается, ворота были закрыты.

Бенен позвонил. Обормоты взволнованно переминались. Дом не шелохнулся.

Бенен позвонил вторично. Еще тревожнее на этот раз сгустилось молчанье обормотов. Мало того, что дом не шелохнулся: равнодушие его казалось демонстративно-враждебным.

Бенен рванул звонок в третий раз.

Каждый из обормотов — а их было семеро — молчал, и молчанье его самопроизвольно возводилось в седьмую степень: другими словами, это было величайшее молчанье в мире.

Дом испустил неприлично странный носовой звук неизвестного происхождения. Но дверь не открывалась.

Бенен позвонил еще раз. Собутыльники роптали. Дом заурчал, и дверь открылась.

Собутыльники вошли гуськом. Мартен, шедший в хвосте, прикрыл дверь. Банда потонула в черном, как ночь, коридоре. Затаили дыханье. Не шевелились. Сутулились, втягивали головы в плечи, словно боялись удариться об потолок. Так кошка подбирается к соуснику в буфете. Она смутно крадется на запах, и вот, когда дошло до решительного прыжка, у нее пропадает аппетит.

Прошла минута. От молчанья мрак казался гуще.

У всех на уме было одно: „А Бенен? Где же Бенен?“. Каждый старался чутьем угадать Бенена. Тарачили.

глаза, но в гляделках не было проку. Щупали друг друга и толкались локтями.

В конце коридора, ничем не выдавая своего присутствия, ликовал Бенен.

Наконец, Лесюер положил ему руку на плечо.

— Это ты, Бенен? Где же сомнамбул?

— Бенен!

— Бенен!

— Скорей! Консьерж мобилизуется.

— Не смущайся! Держись за рукав соседа! Эй, ты, не отпускай меня! Вперед!

Повиновались. Получилась слепая индийская цепь. Каждая душа бездумно доверилась предшествующей.

Нет ничего более наивного и беспомощного, чем индийская цепь ночью. Один Бенен наслаждался полнотой бытия. Он даже вырос, как будто. Спутников он ощущал как часть себя самого.

У Бенена появились новые властные права. Он непринужденно продвигался. Казалось, он хорошо видит в темноте. Ни тревоги, ни робости. Три тысячи полицейских, выстроенных шпалерами, не смогли бы его остановить. После минутного колебания, он взял бы приступом Гибралтар.

Проходя мимо каморки консьержа, он крикнул:

— Свои!

Потом решительно открыл стеклянную дверь и погрузился во двор.

Тьма на дворе была терпимее, чем ночь коридора. Здесь осаждалось марево городских огней — как пыль выколачиваемого ковра. Осмелев, индийская цепь распалась. Руководящая роль Бенена кончилась. Никто, как он, однако, — и кто бы другой это мог быть, — указал на странную дощатую пристройку и, выступив вперед, стукнул кулаком в дверь.

Без передышки он стукнул еще раз. Стук перешел в непрерывный грохот.

Внезапно Брудье, а за ним Гюшон воскликнули:

— Смотрите! Что там такое?

— Смотрите!

Они показывали вверх. Все подняли головы. Рассерженный Бенен притворялся, что ничего не замечает, и попрежнему ломился в дверь. Но так как друзья один за другим вопили „что там такое“, а затем уже стали кричать „что там такое“ хором, — он отступил и тоже закинул голову.

На крыше сарая, вдоль конька, медленно двигалась тень, освещенная полымем неба. Человек — это был человек — ходил по коньку крыши. Пристально глядевшись, можно было различить шапокляк и длинное прямо ниспадавшее одеянье: пожалуй, сюртук.

Но тут начинались сомнения. Длинное одеянье, при дальнейшем наблюдении, оказалось чем-то вроде короткой белой юбочки, ниже ясно виднелись голые ноги, в частности, необычайное выпуклые икры.

Омер распустил слюни. Мартен вспомнил давно позабытого им бога. Лесюер даже развеселился от изумленья. Бенен шептал:

— А? Что? Я вас не потчую дрянью! Когда я говорю сомнамбул, так это действительно сомнамбул! Кто назовет его шарлатаном или театральным кривлякой?

Благочестивым молчаньем они отдали дань столь искреннему сомнамбулизму. В эпоху всеобщей фальсификации, подделки и обмана это зрелище укрепляло душу.

Сомнамбул продолжал, между тем, свою прогулку, вернее, повторял ее, по недостатку пространства. Дойдя до края крыши, он поворачивался и шагал обратно.

— Можно его окликнуть? — спросил Лесюер.

— Ни в коем случае, — сказал Бенен: — вы убьете: безукоризненного джентльмена.

— Но...

— Подождем, пока он сам слезет.

— Эге!

— Глядите!

Сомнамбул остановился и снял шляпу. Бескровным голосом, с полупоклоном он произнес:

— Вы меня простите, мадам: к сожаленью меня ждут!

Он выпрямился, надел шапокляк и, сделав два шага, сгорбился, согнулся и исчез.

— Не пугайтесь, — сказал Бенен, — еще не то увидите!

Он рванул дверь. Внутри сарайчика послышался стук передвигаемых предметов. Потом дверное стекло озарилось.

— Кто там? Кто там?

— Это я: Бенен с друзьями для спешной консультации!

Дверь отворилась. Показался человек, державший над головой лампу. Он был в помятом шапокляке и при монокле. Усов не было, но подбородок заострялся козлиной бородкой. Он был в наглухо застегнутом сюртуке, с розеткой ордена „за гражданские заслуги“, прицепленной наизнанку; ниже, на волосатых ляжках, трепалась рубашка и виднелись бронзовые ноги в парусиновых туфлях с веревочной подошвой.

Друзья поклонились. Сомнамбул ответил сдержанным кивком.

— Если вы хотите побеседовать со мной, господа, — сказал он, — нам будет удобнее в моем рабочем кабинете.

И, повернувшись вполоборота, спросил:

— Разрешите мне пройти вперед?

Друзья робко проникли в довольно обширную комнату. Лампа слабо освещала ее стены.

Первой бросилась в глаза маленькая обезьянка, с виду похожая на чучело, висевшая на шнуре от входной двери, привязанном к потолку. Обезьяна болталась на уровне человеческого роста, в средоточии всего пространства.

За косматым задом обезьяны стоял пульт для письма. Хвост животного был погружен в сосуд с китайскими чернилами.

Насытившись этим зрелищем, взгляд переходил к не менее своеобразному одру. Матрац лежал непосредственно на досках, подпираемых четырьмя бочками так называемого бордоского типа.

Сомнамбул любезно осведомился:

— Дело, которому я обязан чести вас видеть, касается вас всех, господа?

— Да, всех.

— Сообща?

— Сообща.

— Тогда, господа, я попросил бы вас не двигаться. Вплоть до предупрежденья сохраняйте теперешнее положение.

Сомнамбул отошел в угол комнаты.

— Именно то, что я думал! Вы принадлежите к типу „малого эпсилона“.

Заметив недоуменье приятелей, он прибавил.

— Вы, конечно, знаете, господа, что все простые человеческие группировки символизируются той или иной буквой греческого алфавита. Заглавный омикрон соответствует собранию на площади; большая омега — публике театра; большое ки — уличной толпе малое греческое „е“ — очереди на концерты Колонна и так далее. Вы — ясно выраженный „малый эпсилон“. У малого эпсилона три гения покровителя: Пижль, Дерпижль и Андерпижль. Пижль — отец. Он пребывает в центре. Место его соответствует месту господина Бенена. Сын Пижля — Дерпижль — управляет верхним росчерком эпсилона. Он соответствует месту вот этих господ. — При этом он указал на Лесюера, Ламендена и Брудье. — Андерпижль — сын Дерпижля — управляет нижним росчерком. — Он указал на Гюшона, Омера и Мартена. Каждая эманация группы вашего

порядка заимствует свой свет от одного из трех гениев: Пижля, Дерпижля или Андерпижля.

Сомнамбул схватил маленькую лоханку и выдвинул ее на середину комнаты. Затем он взял флакон, очень похожий на бутылку красного вина, и вылил его в лоханку.

Он медленно скинул туфли. Показались ноги цвета заплесневшей бронзы.

Сомнамбул продолжал разглагольствовать:

— Предлагаемый ритуальный обряд называется „концептакулумом“. Вылитая мною жидкость есть вино с высочайших склонов Памирского плоскогорья. Виноградник, откуда оно выжато, по прямой линии происходит от рассады Ноя. Это вино в одинаковой мере годится и для внутреннего употребления, так называемого питья, и для наружного — погруженья ног. Оно сообщает мозгу частицу солнечного тепла и с нею способность, в течение пятнадцати минут и более, беседовать с духами. Я приобретаю его за бешеные деньги. Каждый флакон, на месте, обходится мне в десять рупий. Выжимка винограда и выделка вина производятся браманами-эзотериками.

Сомнамбул умолк, переменялся в лице, погрузил в лоханку одну ногу и застыл с поднятым челом и взглядом, устремленным в пространство.

Через минуту он произнес нежнорасслабленным голосом:

— Энжель! Энжель!

Послышалось легкое верещанье.

— Вы слушаете, Энжель?.. Будьте добры, соедините меня с Пижлем, с тем самым, знаете: Пижль с сыновьями...

Оборотившись к приятелям, сомнамбул сказал обыкновенным голосом:

— Энжель есть женственный гений, на обязанности которого лежит поддержание связи ясновидящих с верховными духами. Духовная природа Энжеля капризна.

Позволю себе заметить, что я, скрепя сердце, соглашаюсь на его посредничество.

Снова послышалось верещанье.

— Это Пижль? — закричал сомнамбул. — Я имею честь говорить с его величеством Пижлем? Да... Мерси... Дело идет о группе... Что ты говоришь? Не слышу! Энжель! Энжель!.. Не разъединяйте, сладчайший дух, умоляю вас—не разъединяйте! Так что ты говоришь, отец Пижль?.. Да, да, конечно... Позови Дерпижля и Андерпижля.

Сомнамбул снова обернулся к обормотам.

— Теперь последует письменное продолжение этого разговора, но при посредничестве уже не Энжеля, а Артура. Артур, мой друг и ближайший сотрудник; он — та самая, шелковистая обезьяна, которую вы изволили заметить. Теперь я должен приблизиться к нему по способу левитации.

Он скинул монобль и запрыгал в лоханке. Вино с Памирского плоскогорья булькало под грязными ногами. Рубашка трепалась на волосатых ляжках. Но с каждым прыжком сомнамбула лоханка продвигалась на один сантиметр.

Через минуту, с помощью левитации, он очутился в непосредственной близости к пюпитру. Здесь он бережно развернул лист белой бумаги, прикрепил его по углам кнопками, вытащил из чернильницы плававший в ней хвост Артура и опустил его на бумагу.

— Еще немного терпенья, господа! Господин Бенен, будьте добры точно формулировать ваш вопрос.

— Гм! Вот что: мы хотим отомстить.

— Хорошо. Кому?

— Амберу и Иссуару.

— Как вы изволили сказать?

— Амберу и Иссуару. Это две супрефектуры... Дело совершенно личного характера. Нам просто хотелось бы выяснить наилучший способ мести.

— Хорошо. Артур, я жду!

Под давлением сверхчужественной силы, Артур дернулся. Кончик его хвоста, пропитанный пурпурными чернилами, прошуршал по бумаге.

На этом Артур окончательно успокоился.

Сомнамбул поднял хвост Артура и погрузил его снова в рюмку.

— Можете двигаться, господа. Операция кончена.

Он присыпал бумагу щепоткой талька, отщиплил ее и сделал вид, что внимательно изучает звездообразную кляксу, оставленную хвостом Артура.

— Вот, что я прочел, господа, — сказал он, почесав бороденку:

Коль беспокойный барабан
Глухих разбудит спящий клан,
Коль страсти славные шаги
Прервут течение литургий,
Коль самозванец, смел и лжив,
Накроет рыцарей нажив, —
Тогда Амбер и Иссуар
Получат крепкий в зад удар.

Сомнамбул нахмурил брови, поджал губы, выпятил горло, как индюк, и выставил грудь колесом. Он смотрел в монокль на Гюшона, а Гюшон смотрел на него сквозь очки. Бенен, запустив правую руку под куртку, чесал у себя под мышкой. Нос Омера от соприкосновенья с тайной побледнел. У Лесюера глаза заискрились живчиками, а ноздри раздулись, как у дворняги, которая ждет, что сейчас ей перепадет сахар. Брудье старался сохранить пресыщенно-ироническое выражение. Ламенден, и без того походивший на плод, окончательно созрел в грушу. Физиономия Мартена ничем не выделялась.

— Сколько мы вам должны? — спросил Бенен.

— Лично я отказываюсь от всякого гонорара.

Он помолчал. Приятели широко улыбнулись.

— В лучшем случае, я пожелал бы возместить часть расходов, связанных с процедурой. Керосина, сгоревшего в лампе, я не считаю...

Посетители поклонились.

— Ни китайских чернил...

В знак благодарности они склонили головы.

— Ни листа бумаги...

Из приличья гости изобразили протест.

— Но мне трудно будет взять всецело на свой счет флакон памирского вина (с верхних уступов этого плоскогорья).

— Вполне естественно!

— Это вино уже недействительно для ритуального употребления, а пить его я даже не подумаю. По совету врачей, я пью Виши.

Прятели еще раз поклонились.

— Бутылка, как я вам кажется уже говорил, обходится мне в десять рупий, а индийская рупия, по сегодняшнему курсу, составляет, если я не ошибаюсь, два франка пятьдесят семь. Пересылки я вам не посчитаю.

Он умолк. Прятели беспокойно заерзали. Бенен вытащил кошелек и спросил:

— Значит... если я вас верно понял... это будет десять рупий... по два франка пятьдесят семь за рупию...

— Вы меня отлично поняли.

— Что составляет... двадцать пять франков семьдесят?

— Совершенно точно.

Вздых пролетел из уст в уста.

Бенен вложил в ладонь сомнамбула сначала двадцати-франковую монету, потом пятифранковую. Он искал мелочь.

— Оставим сантимы, — сказал сомнамбул.

* *
*

Прятели вышли на двор, не сознавая, куда они выйдут. Сверхчувственные переживания, внушенные сомнамбулом, до некоторой степени отодвинули нависшее над ними опьянение и отдалили его торжество. Теперь оно навалилось на них всей тяжестью.

Каждый почувствовал себя в одиночестве посреди радужного тумана какой-то равнины. Вокруг каждого широко переливалось какое-то жужжанье. И каждый слышал, как изнутри его подымается какой-то могучий гул.

II.

ОБОРМОТ.

У Бенена был будильник красной меди, пухлый, как ангел, на трех ножках, словно чугунок.

Однажды вечером он его завел, закрутил пружину звона и часового механизма, перевел стрелку пробуждения на четверть четвертого и, прильнув ухом к циферблату, убедился, что потрохи и внутренности металлического зверька исправны.

Затем, страхуя свое пищеваренье, которое мог бы нарушить непривычно ранний сон, он выпил чашку ромашки.

Потом он зарылся в кровать.

Едва успел он задуть свет и нащупать пяткой отдаленнейшие пределы своего ложа, как вспомнил:

— Не ошибся ли я? Брудье сказал мне ясно: девятого августа, в четыре часа утра... Сегодня восьмое... Вчера, перед обедом, я перечел его письмо. Какое идиотство вставить ни свет, ни заря, если... Впрочем, чем я рискую, если попробую?

Он попытался рассуждать:

— Обсудим. В субботу мы должны быть в Амбере, где, ровно в полночь, мы встречаемся против главного входа местной мэрии. Значит...

— Он спохватился: ведь, рассужденья ни к чему не ведут.
— Он встал, зажег свет, подбежал к столу и взял письмо Брудье, — собственно говоря не письмо, а классическое посланье, в александрийских стихах:

Знай, благородный друг, что в среду, утром росным,
Крылатым способом, движением колесным,
Ты в облюбованный направишься притин,
Где — артиллерия окраинных равнин —
Молочник утренний гремит порожней жестью;
Я, кофий выкушав, по гулкому предместью
Нажимом легких ног машину поведу
И старца на пути маститого найду,
Чья жесткая метла — нептуново орудье —
Навозом скакунов питается в безлюдьи.
Туда поеду я, высоких полон чувств,
В Сквер зеленеющий Ремесел и Искусств,
Где, профиль мужеский, блеснув улыбкой жаркой,
Утешит жизнь мою, надрезанную Паркой!
Прочь, бисер нежных слов! Любезность — ерунда;
Сквер. Пятый час утра. Запомним: середа!

Блистательный текст не оставлял никаких сомнений. Бенен широко улыбнулся и испустил хриплый крик, — обычный свой клич в минуты энтузиазма. Прежде чем лечь, он еще раз ощупал шины велосипеда, осмотрел тормоз, седло и фонарь; лишний раз он перехватил веревкой странный пакет, висевший за седлом, и подтянул на одну дырку ремень от маленького пузатого, как беременная корова, дорожного мешка, болтавшегося на велосипедной раме.

Затем он снова улегся, и пятки его обжег холодок еще прохладных простынь.

Он был счастлив. Сердце его билось легко и весело. Лихорадка легкими касаньями щекотала его кожу. Он предвосхищал радость путешествия, чувствовал заранее его остроту и свежесть. Он предугадывал длинные прямые дороги, обсаженные тополями, кривые извилистые переулочки, подъемы, увенчанные гостиницами. Он предвидел необычайные приключения. Сон

его, в котором дремали надежды, уже расцвятился сновиденьями.

Бенен видел во сне, будто ему читают поэму на каком-то восточном языке:

Ночь существует.

Король хочет спать.

Зыби огромного сна подымают его, — кругом подвластные
земли.

Мачты погашен огонь, оружие оставлено дома.

Скоро дугою пути он океан перережет:

Два короля — руки друг другу пожмут на другом берегу.

Но он уже не лежал на корабельном днище: судна уже не было.

Он ехал верхом. Он чувствовал жар горячих конских боков. Впереди него скакал оруженосец с орифламой и пел:

Герой хочет спать.

Входит в сон, как в дремучую чашу.

Держит копье золотое, держит звенящий щит.

Сколько листовенных куп он раздвинет, веток
сломает, трав зеленых сомнет?

Сколько зверей изумленных ощерятся грозно
на лапах упругих?

На исходе ночи он увидел сон. Вместе с приятелями, он в зале большого ресторана. Ламенден слева, Лесюер — справа. Выпито и съедено множество превосходных вещей, как вдруг он, Бенен, чувствует острую потребность помочиться. Мочевой пузырь болезненно тяжелеет. Вся душа Бенена ушла в мочевой пузырь. За счастье помочиться хоть минуту в свое удовольствие, он отказался бы от всех гражданских прав. Какая там минута — хоть двадцать секунд, но энергично, бурно, как гейзер! Тем не менее, подавляя острую потребность, Бенен сидел за столом с обормотами, и ужин продолжался. Внезапно он встал, прошел в глубь зала, вышел в какую-то дверь и увидел ослепительный писсуар, — скорее роскошную галлерею для мочеиспусканья, целый дворец, с фарфоровыми переборками, мозаичным полом и электри-

ческими люстрами; перегороденные стояла двумя рядами уходили в бесконечность; перед ним сверкали десятки, сотни загоронок, каждая опрятная, просторная, нарядная, каждая освещенная прекрасной матовой горелкой. Бенен встал перед первой загоронкой справа и собирался приступить к делу, но ничего не выходило, — ничего! Пузырь еще больше отяжелел, затвердел, стягивался с судорожным упорством. Бенен покинул первую загоронку и встал перед второй. Воля его то сознательно давила на пузырь, то, меняя тактику, давала ему передышку. Насилие чередовалось с мягкостью, угроза с убеждением. Но пузырь одеревенел, и ничего не выходило.

Бенен перешел к третьей загоронке. „Вся эта роскошь меня смущает, — подумал он. — Скромное физиологическое отправление, привыкшее к мраку или полумраку, боится пышности и блеска“.

Тем не менее, он еще надеялся. Третья загоронка показалась ему гостеприимной и благожелательной. Он лелеял неслыханное излишнее.

Ничего! Ни капли! И пузырь был похож на взбесившегося ежа.

От третьей загоронки Бенен перешел к четвертой, от четвертой к пятой, от пятой к шестой — и так без конца и без результата.

Внезапно этот палящий кошмар развеялся. Бенен увидел во сне, что он просто спит и что пора просыпаться. Ему снилось, что он слышит дребезжанье будильника; ему снилось, что он проснулся, чиркнул спичкой, зажег свечку, соскочил на пол и босиком побежал к крану.

Тогда он проснулся, на самом деле, и в точности исполнил все, что ему снилось.

Трудно было сказать, действует ли он по собственному почину или же воспроизводит сон: до такой степени это было то же самое.

Бенен чиркнул спичкой, зажег свечку и соскочил на пол. И босиком он побежал не к крану, который был на кухне,

а к камину. Он долго вглядывался в будильник, и туго воспринимая, что уже без десяти три.

Мостовая убегала из-под шин велосипеда. Поливальщики, справлявшие свое дело до рассвета, смывали корки уличной грязи обильными струями воды. Встряски чередовались с свободными бросками. Иногда колеса рассекали лужу, и тогда казалось, что, хлюпая, пьет какой-то зверь.

Бенен был счастлив. Ухабы его радовали. Подпрыгивая, он убеждался в гибкости ремней, в прочности рамы, в упругости седла и в устойчивости собственного седалища.

Бенен подпрыгивал на булыжной мостовой, скользил по торцовой, натыкался на неровности рельс, взбивал навозную жижу, как кухарка взбивает сливки. Наконец, он увидел балюстраду Сквера Искусств и Ремесл.

Светало. Все голубело и таяло. Метельщик в отдалении казался сахарным человечком.

Бенен затормозил велосипед и оглядел площадь. Сад был пуст; тротуары тоже. Субъект — типа собирателя сигарных бычков — задумчиво прислонился к колонне Мориса.

Бенен раз-другой обошел площадь. Он начинал тревожиться.

— Дурной знак! Если Брудье не явился во-время, значит — он не придет совсем.

Он прошелся еще раз.

— Однако, чорт возьми!.. Мне не нравится... А впрочем... На моих часах всего без пяти четыре, а они, как будто, вперед. Должно быть, не больше четырех.

Когда он поровнялся с колонной Мориса, любитель сигарных бычков встряхнулся и пошел ему навстречу.

Борода у него была седая, и глаза его струили античное сиянье.

Бенен остановился. Старец открыл рот:

Не вас ли, государь, сюда уже зовут,
Хоть кони Фебовы еще не достают
В пурпурной мгле ворот небесного чертога...

„Подозрительно смахивает на Брудье, — подумал Бенен. — Однако, это не он. Могущество грима не беспредельно“.

Старец патетически продолжал:

... И лавр обещанный и слава полубога?

Последние слова были подчеркнуты широким мановением руки и вопросительной улыбкой. Бенен, казалось, не слушал. Старец повторил:

Не вас ли, государь...

— Меня! Меня! Не сомневайтесь! — крикнул Бенен.

Старец кашлянул. Казалось, он что-то припоминал. Он пожевал губами, потом заговорил вдохновенно-уверенно:

... Владыка, чувствами нежнейшими палим,
Избрал мою гортань посредником худым
Для передачи слов, в которых дружба дышит...

— Чорт возьми! Может быть, вас подослал Брудье? Да или нет? Отвечайте ясно.

Старец только улыбнулся и продолжал:

Когда бы знал Бенен и если он услышит,
Каким узлом коварств удержан я вдали!..

— Он не придет?! Свинья! Скажите ему, что он свинья. Обязательно скажите. От вашей напыщенной трескотни меня прошиб пот.

Старец заключил стихотворный период:

... Все позорения лежали бы в пыли!..

— Так он не придет? О, гнусная рожа, скотина, продажная душа! Ведь это было решено, клятвенно обещано! Передайте ему, что он мерзок, что я ставлю его на одну доску с чистильщиком выгребных ям, с „корсиканским поручиком“, с маэстро Пуччини! Не забудьте сказать ему, что я безжалостно приравниваю его к маэстро Пуччини! Да прибавьте, что если

он скоро умрет, чего я ему желаю, то я приму все меры чтобы в гроб к нему положили, для ускорения гнилостного распада тканей, стихотворный самоучитель Огюста Доршена.

Старец, с изысканной попрежнему любезностью, продолжал:

Я в славном городе, где Ньевра берег моет.
Из телеграфных рун я узнаю: тифонд
У дядюшки Проспера моего.
Я не нарадуюсь на капитал его!..
Ну, как же он сойдет к бесплотным и незримым,
Непровожаемый племянником любимым?
Срываюсь... тороплюсь... без ног спешу в Невер!
Увы! Чудовищной превратности пример:
Здоровье дядино — сей дряхлый жезл — окрепло.
Событие грустное ложится тучей пепла.
Но живы замыслы возвышенных побед!
Еще нам предстоит, друзья, велосипед!
Баранта, номер три, — я пью неверский морок.
Готовься к поезду, Бенен, в четыре сорок!
Я в девять на перрон приду без десяти...
С платком и шляпою душа к тебе лети!

Старец поклонился в пояс. Улыбкой он дал понять, что декламация кончена.

— Что это значит, — сказал Бенен. — Вы от Брудье?

— Да.

— Почему же он не пришел сам?

— Вы же знаете, что он в Невере...

— В Невере?

— Площадь Баранта...

— Площадь Баранта?

— Дом номер три.

— Кроме шуток? А дядя Проспер?..

— Благодарю вас, ему лучше, но он был очень болен.

— Вы надо мной издеваетесь?

— Нет.

Бенен что-то пробурчал, а потом сказал:

— Как же мог Брудье прислать вас сюда сегодня утром, если он в Невере.

— Я чистильщик сапог, сударь, и посыльный. Но не в этом дело: я телепат.

— Как?

— Телепат.

— Превосходно.

— Я принимаю и передаю мысли на расстоянии. Брудье — один из моих клиентов.

— Вот как! Вот как!

— Невер недалеко. Но до последней минуты дул западный ветер, враждебный телепатическим волнам.

— А!

— Моя задача или, если вам угодно, моя миссия вестника окончена.

— Тогда... благодарю вас...

— Но меня подмывает вам сказать, что вы условно заблуждаетесь относительно причин войны тысяча восемьсот семидесятого года!

— Я? Заблуждаюсь?..

— Да, как и все прочие.

— Вполне возможно.

— Причина войны тысяча восемьсот семидесятого года — это я.

— А!.. Я и не догадывался!..

Сказав это, Бенен соорудил строгую физиономию, холодно поклонился, сел на велосипед и умчался, нажав педаль.

Он взглянул на часы.

„Двадцать минут пятого, — размышлял он. — Этот мошенник говорил мне о каком-то поезде в четыре сорок. Но спрашивается, что он при этом думал. Нет сомнений, добродетельные александрийские вирши продиктованы Брудье. Но Брудье, несмотря на свою классическую закуску, все же — Буало для трубочистов. Это уже верно! Однако, кое-что в наших отношениях свято. Я знаю Брудье.

Разыграть меня, разыграть товарища, так чудовищно насмеяться надо мной да еще в вопросе чести! Нет! Брудье на это неспособен. Он глумится надо мной только формой посланья, а по существу он серьезен. Если он не явился, значит — не мог. Если он назначает Невер, значит — он уже там или там будет. Дядя Проспер личность мифологическая; опасаясь его, — но и это вздор! Во всяком случае, мне ничего не стоит прокатиться к Лионскому вокзалу. Если я поспею к неверскому поезду, — если вообще есть такой в четыре сорок, — рискну и поеду.

Бенен осмотрелся — в каком он квартале. Мускулы его, очевидно, повиновались внушениям Брудье: велосипед уже домчал его до площади Республики. — „Отступать поздно! — подумал он. — Таинственная сила толкает меня в путь!“

Он взглянул на часы:

— Половина пятого. Поезд уходит через десять минут; скажем через пятнадцать, так как часы спешат. Я не из тех, кто опаздывает.

Он приналег на педали, рассекая на полном ходу черноватые лужи, в которых барахтались шины. Высоко взлетали брызги взметаемой грязи. Улица, как смердящая старуха, обдавала Бенена вонючими газами.

На вокзальных часах было без двадцати пять. Навалившись на руль, Бенен одолел подъем вокзальной площади; он соскочил на троттуар, юркнул в ближайшую дверь, зацепился за какую-то женскую шаль, и крупными шагами обошел билетные кассы. Только одно окошечко было открыто. Надпись гласила:

„Четыре сорок. Мелен - Морэ - Жиен - Невер. Местное сообщение“.

Бенен почувствовал прилив радости, смешанной с раскаяньем:

— Я усомнился в Брудье, в достойном, чистосердечном друге! Я вижу его, как живого: он меня ждет на

дебаркадере! Но вот тоска — нужно выбрать талон на провоз велосипеда!

Когда Бенен выбежал на перрон, было тридцать девять минут пятого.

— Лишь бы успели втиснуть в поезд моего коня. С моей-то несчастной звездой!

Он боязливо взглянул на вагоны.

В то же мгновение он заметил человека в голубой парусине, который вел велосипед. Бенен узнал свой мешок, чемодан и странный пакет, болтавшийся за седлом.

Успокоившись, он начал выбирать купэ. Он хотел ехать в одиночестве, отдаться свободно восторженной полноте чувств, избежать трений соседства. Все отделения были пусты, что еще более усложняло задачу, так как не было решающего для выбора момента. Но опыт путешественников склоняется в пользу середины поезда, как части, наименее подверженной толчкам тяги и броскам остановок, в частности — в пользу среднего вагона, как самого удобного во всем составе. Отсюда следует, что нужно выбирать среднее отделение среднего вагона.

В ту минуту, когда Бенен укреплялся в этом решении, поезд тронулся. Бенен едва успел схватиться за поручень и прыгнуть в первое попавшееся отделение. Эта случайность едва не омрачила его радости. Он чуть не истолковал ее, как дурное предзнаменование, как начало целого ряда злоключений. Но радость возобладала.

— Ну и молодец я, — утешил он себя. — Как индеец Сиу, я находу прыгаю в поезд.

Светало. Движенье прибавлявшего ходу поезда казалось движеньем самого дня.

Вскоре Париж отошел в прошлое. Бенен взглянул на поля. Без всякого удовольствия. Равнина, как наматываемая на аршин ткань, мелькала перед ним с какой-то расчетливой поспешностью.

Бенен посмотрел на перегородку. Она тряслась; и бежала вспять полным ходом.

Бенен опустил руку в карман пиджака. Он вытащил старый конверт и скатал его в шарик; потом поднял шарик в уровень с лицом и уронил. Шарик упал по отвесу, словно в комнате провинциального дома.

Бенен пожаловался на одиночество:

— Сюда бы какую-нибудь провинциальную старуху или пухленького коммивояжера с холеными усами; сорока-летнего мужчину в блузе, в широкополой шляпе, с тростью; в грубых башмаках, в котором я сразу узнал бы богатого скотопромышленника; или тощую даму, лет тридцати девяти, в полу-трауре, страдающую несварением желудка!

Душа Бенена становилась прожорливой. Не отрыгнув, она проглотила бы самое плотное и сложное человеческое сцепление. Она прокалила бы самую жесткую мысль коммерсанта.

Душа шевелилась, искала жертвы. Она пыталась выброситься из поезда и схватить что-нибудь на равнине. Но поезд шел слишком скоро и отрывал ее от предметов.

Тогда Бенен взглянул на поезд, как на свое тело. Он завладел деревянной обшивкой и старым железом и включил всю эту громоздкую тяжесть в вес собственной плоти.

После пятнадцатиминутного, приблизительно, пробега, движение поезда стало замедляться. Каждый удар его ритма немного запаздывал; паровоз жалобно засвистал. Бенен почувствовал щемящую тоску. Он ни о чем не беспокоился, ни на что не рассчитывал, но сразу весь размяк. Он думал только о задержке поезда; хотел одного — движенья.

Наконец, поезд остановился в поле. Паровоз свистел. Бенен вспомнил, что он забыл помочиться, прежде чем сесть в вагон.

Ничто в этой скромной подвижной коробке не было приспособлено для принятия мужской мочи!

Раздался еще свисток. Бенен ждал ответа на этот вопрошающий крик. Вселенная ступсвалась. Поезд был один на земле, а Бенен один в поезде. Досадное положение, напоминающее положение бога.

Под вагонами послышался легкий лязг, купэ слегка вздрогнуло, паровоз просвистел, и поезд тронулся. Снова Бенен почувствовал себя лучше. Мочевой пузырь потерял для него всякое значение.

Потом, — стояли на разных станциях. Это было в порядке вещей; остановок по расписанию Бенен не осуждал. Никто не входил в поезд, никто не выходил. Вдоль вагонов шел кондуктор и выкрикивал нечто, неизменно похожее на проклятье. Кто-то давал сигнальный свисток. Кто-то трубил в гусавый рожок. И Бенен катился дальше на всех своих колесах.

К семи часам в отделение хлынуло солнце. Почувствовав его щекочущее тепло, Бенен встал и зашагал от одной портьеры к другой, приговаривая:

— Прогулка укрепляет легкие и разминает мускулы.

Но между портьерами был промежуток в два шага, и хороший ходок на всю прогулку потратил бы секунду.

Бенен сел и пропел *Tantum ergo*.

Ему представились изумительные, торжествующие картины. Он катится с Брудье по большим дорогам к проклятым городам Амберу и Иссуару. Он увидел сборища обормотов, их величавые совещанья в темноте провинциальной ночи, вереницу их подвигов. Он увидел себя самого, в суровом одеянии, стоящим высоко над толпой под готическими сводами. Беспокойное будущее роилось в вагоне. Бенен говорил:

— Это слишком хорошо! Это сорвется!

Его уже утомляло нести одному бремя стольких надежд, и он был счастлив, когда в отделение вошел другой пассажир. Это был поденщик. Но Бенен безмерно возликовал, заметив, что поденщик пьян.

— Вот это человек! Пьян к половине восьмого утра! Разве это не мировой рекорд!

Бенен смерил его взглядом.

Поденщик с поразительной проницательностью пьяниц разгадал мысль Бенена и ответил на нее:

— Я пропустил сегодня шкалик. Самое подходящее дело для человека моего возраста. Но не везет. Советовали мне пить по утрам шоколад. Но, с вашего позволения, я его отрыгнул. Отвратительный напиток! И потом, при нашей работе — от него никакой пользы!

Дыханье пьяницы, могучее и насыщенное, как его мысли, пропитало воздух всего купэ. Все подчинилось законам опьянения. Было очевидно, что колебанья и толчки поезда исходят от проспиртованной души.

Бенен настроился на самый радужный лад. Будущее показалось ему легким и величавые блага обетованной земли беспрекословно обреченными вождельню героев.

Толчком остановки на Неверском вокзале пьяница, валявшийся на скамейке, был сброшен на пол.

Перешагнув через пресыщенное алкоголем тело, Бенен раздвинул портьеры. Сердце его тревожно сжалось.

— Через секунду все разъяснится.

Он быстро вообразил Брудье: плотное туловище, полное белое лицо, холеные усы и сверкающие полнотой жизни глаза. Сгорая нетерпением увидеть наяву мелькнувшего в воображении друга, он высунул голову за портьеры.

В то же мгновение вокзал огласился громоподобной музыкой. Бенен услышал Марсельезу. Он соскочил на перрон.

Напротив, в небольшом от него расстоянии, пять человек в сюртуках одинаковым жестом приподымали шелковые шляпы.

Один из них выступил на три шага вперед. Не Брудье ли это? Это был Брудье.

Он был в рыночном сюртуке, слишком широком в талии и слишком узком в плечах. Шляпа его производила впечатленье шапокляка, нахлобученного на морскую трехуголку.

Брудье официально улыбался. Он как бы склонял свой слух к звукам национального гимна.

Бенен взглянул налево. Двенадцать человек в костюме посыльных дули в медные трубы. Стекла вокзала дребезжали от яростной музыки. Но вот прогремели заключительные такты гимна, и наступило глупое молчанье.

Брудье заговорил:

Cave amicorum optime ne vividius patefacias, quantum fragrantes illos concentus, istorum praesentiam, habitum meum, denique cunctum apparatusum illum mireris! Nam que satis sit te minimo cachinno vel uno temporis momento discuti, ut totum meum consilium, studiose et negotiose instructum, haud aliter ac procellis cymba diruatur.

Cave, igitur, ne te in hilaritatem effundas! Etenim isti persuasum habent te apud Scitharum regem, quem tsarem vocant, praestantissimo officio praefectum esse. Idcirco villulae hujus senatui placuit, maximos quidem honores ante pedes tuos quasi sternere, nec dubitaverunt et gibus suos et solemnes vestes induere.

Hercule oportet, amice, superbum vultum, minax supercilium, ferocem oculum praebeas, quae omnia dignitati tuae admodum congruunt.

At timido intuitu infulas istas despicias quibus crura tua arcte involvuntur? Quasi non curassem satellites meos de mirando Scytharum cultu et habitu et moribus praemonere! ¹⁾.

¹⁾ Остерегайся, превосходнейший из друзей, выказать удивление по поводу шумной музыки, многолюдной толпы, моей наружности и всех этих приготовлений. Ибо помни, что ничтожной усмешкой ты можешь в одну секунду разрушить весь мой при-

Брудье откашлялся и с удвоенной энергией продолжал свою речь в то время как четыре делегата позади, парализованные восхищением, неподвижно глядели перед собой и даже распустили слюни:

Sed paucis verbis utar. Quaeso caput erigas; atrox nec non quodam modo benignum lumen circumspargas. Et veterem tuam in lativo sermone excellentiam renovans, strepente simul ac numerosa voce, Scythica simul ac Tulliana eloquentia ferream simul ac vitream loci illius vastitatem impleas ¹⁾).

Эти звучные слова Брудье сопроводил низким поклоном.

„ Однако, он, пожалуй, слишком развязен, — подумал Бенен. — Как будто недостаточно этой шутовской встречи! Он душит меня цicerоновским красноречьем! Какая наглость выдавать меня за царского посланника... это с моими-то брюкодержателями... кто ему поверит? Все издеваются надо мной... „

Но все с такой жадностью ожидали продолжения, что Бенен решился их уболаговорить. Он гаркнул не своим голосом:

лежно и бережно разработанный замысел, подобно тому, как ураган губит челнок.

Итак, остерегайся разразиться смехом! Ибо я убедил их, что ты послан с важным поручением от скифского владыки, которого зовут царем. Вот почему сенат этого городка решил повергнуть к стопам твоим величайшие почести, вот почему, не сомневаясь, надели они на себя лучшие шляпы и праздничные одежды.

Клянись Геркулесом, друг, тебе подобает явить надменный лик, грозную бровь и свирепый взгляд, ибо все эти люди сбежались сюда для лицезренья твоего величья.

Надеюсь, что ты, по крайней мере, бросишь беглый взгляд на эти повязки, плотно облегающие твои голени. К сожалению, я не посвятил моих спутников в диковинные обряды, нравы и привычки скифов.

¹⁾ Но буду краток. Прошу тебя поднять голову и посмотреть на окружающих не только благосклонно, но и грозно. Постарайся же, почерпнув из латинской речи свое древнее величие, напомнить заключенное в стекло и железо пространство этого сооруженья могучим и зычным голосом скифского или туллийского красноречия.

— Haud nescio qua astutia cares, porcorum turpissime! ¹⁾

— Intellego ²⁾, — сказал Брудье с поклоном; потом обратился к своей свите: „Вот, господа, перевод нескольких слов, которые господин советник императорского русского двора изволил произнести в ответ на мои скромные приветствия и пожеланья: „То, что я слышал, лишь подтверждает, что французы изысканно-вежливый народ“.

Бенен продолжал:

— Quod si pugnum meum non cohiberem gulam tuam subito ictu sane affligerem! ³⁾

— Если бы я не сдерживал порыва своей признательности, я бы позволил себе обнять всех присутствующих, — перевел Брудье.

— Me quidem per, foedissimum dolum induxisti, ad grabattulum meum intempestiva nocte deserendum ⁴⁾.

— Благословляю очаровательную необходимость, которая заставила меня покинуть берега Невы.

— Cum superatis ingentibus periculis in dictum quadrivium irruerem, horrido quidam seniculo occurri, qui me insanis versibus contudit ⁵⁾.

— Лишь преодолев величайшие невзгоды, мы выходим на широкое поприще жизни, чтобы в старости стать жертвою стихов!

Все четыре делегата соболезнующе покачали головами, показывая тем, как высоко они ценят мудрость русского путешественника.

¹⁾ Не пойму твоих коварных происков, бесстыжая свинья.

²⁾ Понимаю.

³⁾ Почему бы мне, в самом деле, не сжать кулак и не ударить тебя внезапно по рожу!

⁴⁾ Ты завлек меня сюда постыднейшей хитростью и поднял в неурочное время с ночного ложа.

⁵⁾ Преодолев чудовищные опасности, я ворвался в эту колесницу, встретившись перед тем с отвратительным старцем, который толкнул меня в путь безумными стихами.

— Attamen, — простонал Бенен, — tanta amentia captus sum, ut pagum istum peterem ¹⁾.

— Должен себя поздравить, господа, со счастливым наитьем, которое привело меня в этот роскошный город.

— Te tandem reperio, marcidum lenonem, qui meam, ut ta dicam, bobinam toties irrisisti ²⁾.

— Не нарадуюсь встрече с воинственным посредником, уже неоднократно увеселявшим скучную пряжу моих дней.

— Merdam, merdam ³⁾! — иступленно прорычал Бенен.

— Привет! Привет! — крикнул переводчик.

— Utinam aves super tuum caput casent ⁴⁾.

— Пусть благословенье птиц небесных осенит вашу голову.

Бенен умолк. Брудье подал знак. Из жерла труб полились медные звуки, в которых с трудом можно было распознать русский гимн.

III.

ДВА ОБОРМОТА.

В тот же день, в девять часов вечера, из Невера выехали два велосипеда: Бенен и Брудье бок-о-бок. Светила луна, и велосипедам предшествовали две длинные очень узкие тени, словно два уха одного осла.

— Чувствуешь ветерок? — сказал Бенен.

— Еще бы нет, — ответил Брудье. — Он расчесывает мне волосы, словно гребенка с редкими зубьями.

— Ты снял кепку?

— Да. Так лучше.

¹⁾ Однако я был настолько безумен, что отправился в эту трущобу.

²⁾ Однако, я узнаю в тебе жалкого сводника, который, так сказать, не раз насмехался над моей подружкой.

³⁾ Сволочь, сволочь

⁴⁾ Пусть птицы небесные нагадят на твою голову.

— Правильно. Кажется, будто подставляешь голову под воздушный кран.

— Слышишь кузнечиков справа?

— Нет, не слышу.

— Прислушайся. Звенит наверху. Напоминает звук тишины... сухонький звук маленькой пилы.

— Ах да. Теперь слышу. Я и тогда, вероятно, слышал. Какой странный звук! Как высоко его занесло!

— Посмотри, как наши тени скользят по лунной лужайке и остриями входят в гущу деревьев!

— Там, должно быть, другая дорога. Виден движущийся фонарь. Это коляска.

— Не думаю, чтоб дорога была другая. Это наша дорога поворачивает, и ты видишь ее колесо. Коляска едет в том же направлении, что и мы.

— Как я счастлив, старина. Все превосходно. И мы скользим куда глаза глядят на упругих и молчаливых машинах. Люблю эти машины. Они везут нас умно. В них продолжается наше тело, и крепнет наша сила. Люблю их молчаливый бег. Верное молчанье. Молчанье, исполненное уваженья к миру.

— Я тоже счастлив. Я считаю, что мы — могучи. Где наши пределы? Неизвестно. Но где-то очень далеко. Ни одно мгновение будущего меня не страшит. Я преодолю самое мрачное препятствие, как дорожную гальку. Шина моя его раздавит... и велосипед не дрогнет... Сегодня вечером, лучше чем когда-либо, я постигаю округлость земли. Пойми меня! Круглая, свежая земля — и мы двое скользим по обсаженной деревьями дороге. Вся земля похожа на ночной сад, где гуляют два мудреца. Прочие вещи где-нибудь да кончаются; — так нужно. Шар — бесконечен. Даль горизонта перед тобой неисчерпаема. Ты чувствуешь округлость земли?

— Я смотрю, куда забегает свет наших красных фонариков...

— А я думаю о продавце картин, который однажды мне признался: „Двадцать процентов с Рембрандта: это меня не интересует!“ О театральном критике, который обмолвился: „Гамлет вырос в исполнении мадам Сары Бернар“. О викарии из Сен-Луи д'Антина, который провозгласил с кафедры: „Ренан расплачивается вечными мученьями за кощунственную дерзость своих идей“. И вдруг мне начинает казаться, что нет больше ни спекулянтов, ни театральных фигляров, ни ханжей. Земля чиста, как выкупанная собака.

Но вот движение стало затрудняться. Пришлось приналечь на педали. Крутой подъем просвечивал в черных деревьях.

Листья шевелились, — но приятели уже не рассекали воздушной струи. Ветер двигался в одном направлении с ними, с той же скоростью, готовый их легонько подтолкнуть, если они замедлят бег.

Косогор был крут. Каждая, поочередно нажимаемая педаль, казалась твердой, как ступенька лестницы. Однако, она поддавалась, и колеса, бросками, катились дальше. Велосипед оборачивался то в одну, то в другую сторону, словно коза, преследуемая собакой.

Огоньки красных фонариков подпрыгивали, красные блики ложились на землю вперемежку со светлыми полосами лунного света.

— Когда я был мальчишкой, — сказал Бенен, — я грезил по вечерам, засыпая, что еду верхом по лесу, и что со мной рядом мой лучший друг.

Подъем кончился. Сто метров по ровному месту, и машины покатались вниз с передачей.

Спуск, клубившийся как пар, сбегал в глубину долины.

Оба велосипеда катились с нарастающей скоростью. Передние колеса подпрыгивали одновременно.

* * *

Это радовало Брудье и Бенена. Время от времени, один из них слегка тормозил, чтобы не обогнать другого.

Они вспахивают рыхлую ночь двузубцем единой радости. Теперь они знают, что такое мир для двух движущихся мужчин!

Бенен катится слева, Брудье справа. Вот уже нет ни левой, ни правой стороны: есть сторона Бенена и сторона Брудье.

Вселенная разрезана на две части: мир по ту сторону Бенена, и за него ответствен Бенен; мир — по ту сторону Брудье, и он, естественно, подчинен Брудье.

Но пространство между Брудье и Бененом выпадает из вселенной.

Когда Бенен один, он несет в себе только ничтожно малое настоящее, сплющенное массивным прошлым и увесистым будущим. Но между Бененом и Брудье колеблется, как тук с поклажей, огромное настоящее.

Когда Бенен один, он сравнивает себя с тонкой жердью, водруженной в центр пространства. Мир царит вокруг него с такой протяженностью и значительностью, что Бенен не совсем уверен в том, что он тоже занимает место.

Когда Бенен движется один, он постоянно сталкивается с миром. Это непрерывное трение.

Бенен и Брудье, в движении, отграничивают неоспоримое пространство и владеют им. Если им угодно, они рассматривают мир, как сомнительное предместье.

* * *

Все быстрее спускались они по косогору и выехали в маленькую ложбинку. Волнистые неровности почвы скрывались под густыми древесными зарослями. Узенькая дорога извивалась таинственными коленцами.

— Кажется, мы недалеко от деревни, — сказал Брудье.

— Какая приятная местность, — заметил Бенен. — Свежо, как в парке, на берегу пруда. И воздух домашний. Словно ты в комнате, украшенной зеленью. И уже не различаешь пути. То под колесами лист, то лунный кружок. Ветки щекочут уши.

— Внезапно в лиственной чаще показался выступ стены. Стена, крыша, целый дом. Дом, другой, третий, кучка домов, разделенных прослойками зелени, словно фрукты в корзине, выложенной листьями.

Целая деревушка примостилась в котловине.

Нежнейшее молчанье скрепляло дружбу домов. Ни проблеска огня. Только луна и звезды. Только отраженное сияние неба. Но дома согревали воздух, словно белые барашки, спящие на выгоне.

Прятели углубились в улочки, несколько раз свернули. Полоса света пересекла дорогу. Свет струился из дверей. Подъехали. Над дверью свешивалась сосновая ветка; большая медная лампа, словно пузатый паук, плела лучистую пряжу между прилавком и балками.

— Вот гостиница! Если удастся здесь переночевать, будет изумительно.

— Сомневаюсь!

Они вошли. Комната была пуста. Ничто сперва не шелохнулось. Они кашляли, чихали, нажимали груши велосипедных рожков.

Показалась тучная женщина. Брюхо ее выпятилось на добрый шаг вперед. Затем шли груди, подобные двум мешкам с мукой, привязанным к крупу лошади; потом запрокинутое лицо, заплывшее белым жиром, и круглые блестящие глаза, колыхавшиеся в такт с грудями.

— Судари, сударыни, — сказала она, улыбаясь, — не угодно ли вам чего поесть?

— Нет... нам нужна комната.

— Каждому отдельная?

— Да.

— Двух комнат я дать не могу.

— А!

— Но у меня есть комната с четырьмя кроватями. Если вас не стеснит переночевать в одной комнате...

— Почему нет!.. Четыре кровати — как раз то, что нам нужно.

— Куда можно поставить велосипеды?

— За мной, пожалуйста...

Коридором, где сушилось мокрое белье, она вывела их на двор, пропахший навозом. Открыла плетеную дверь чулана, и велосипеды устроились с бутылками, лопатами и бочкой.

— Они в сохранности? — спросил Бенен.

— Будьте покойны!

— И пакеты тоже?

— Никто к ним не притронется.

— Кстати, — сказал Брудье, — что за огромный тук болтается за седлом твоей машины?

— Пустяки! Белье.

— Это должно тебя стеснять?

— Ничуть.

— Подозрительно!

Поднялись по деревянной лестнице. Потом пошли коридором. Вдруг споткнулись о ступеньку, и женщина тотчас же произнесла:

— Осторожно! Здесь ступенька вниз.

Она остановилась перед дверью с красной занавесью. Открыла ее. Представилась большая квадратная комната с плитяным полом; по углам — четыре деревянные кровати, на камине — часы с черным маятником и охотничий рог над часами.

Вернулись в общую залу.

— Что угодно господам? — спросила хозяйка голосом, звучащим издалека, и подымавшимся из-под живота и груди.

— Мне... ромового грогу, — сказал Бенен.

— Отлично! Мне тоже.

— Этого я не знаю, господа, но есть у меня коньячок высшей марки: он за себя постоит.

— Давайте ваш коньячок.

Обормоты осмотрелись.

— Как здесь чудесно! Мы здесь не больше пяти минут, и все нам уже знакомо. Ты не можешь себе представить, до чего естественным я нахожу этот календарь — премию фирмы Бризо, и — до какой степени я оправдываю и чувствую необходимость этих четырех красных портьер.

— А деревня, — сказал Брудье. — Она здесь явно присутствует. Положительно, деревня нежна, легка и всеми порами открыта влиянию луны. Ощущая ее соседство, я испытываю удовольствие, с каким птица обнюхивает свой пух. Вообрази, как навязчиво и тревожно надвинулась бы природа, как оцетинилась бы ночь, если бы не спокойное кольцо деревни!

Женщина вернулась. Тело ее явно отказывалось изобразить осанку ее душевного состояния. Женщина хотела бы войти с опущенной головой. Но особое устройство живота, груди и шеи заставляло ее запрокидывать голову подобно человеку, пьющему залпом.

Обормоты, как проникательные метафизики, не обманулись внешностью и сейчас же смекнули, что трактирщица вошла с опущенной головой.

— Господа будут снисходительны: коньяку у меня больше нет; но зато есть вишневый ликер!

— Давайте.

Она налила им вишневой настойки. Потом она стала повертываться всем корпусом, вполуоборота. Этот маневр напомнил Бенену разводку могучего моста, которым он когда-то восхищался в Бресте.

Едва успев повернуться, трактирщица проговорила всхлывшим по отвесу голосом:

— В углу, на лестнице, я оставляю вам подсвечник со свечкой. Будьте осторожны с огнем. Если вам понадобится что-нибудь ночью и вам трудно будет сойти — звонок у третьей кровати, то-есть у второй кровати слева, считая от дверей — и звонок этот не звонит. Но в вашем распоряжении охотничий рог моего покойного мужа, висящий на стене. Нужно только чуть-чуть в него дунуть. У меня птичий сон.

Она сделала два шага. Живот ее колыхался за порогом, а голова проговорила еще в комнате:

— Удобство находится в конце картофельного огорода, позади сада, слева. Сад — сейчас же справа от двора. Очень легко найти. Кроме того, у вас есть горшок, под кроватью справа от дверей. Советую вам наполнять его до половины, потому что сверху он треснул.

* * *

До шести часов каждый спал сам по себе. Каждый был хозяином прекрасной страны тревог и приключений. Каждый раскинулся в огромной кровати. И каждая голова, зарывшись в белую грудку пуха, грезилась самостоятельно; сны текли раздельно.

К шести часам спокойный, но настойчивый колокол ударил по деревне, словно по наковальне. Кой-где брызнула жизнь. Всем спящим в долине приснилось утро. Но сны озарялись не только изнутри. Солнце просачивалось в сон, как в щели ставень.

Бенен и Брудье смутно осознали, что они спят в одной комнате.

Потом они почувствовали, как бы щекотанье на самой поверхности сна. Словно капли дождя, барабанные по стеклам, заявляли о себе предметы внешнего мира.

Оба подумали, что проснулись.

Бенен зевнул и, потягиваясь, как мычащий теленок, издал звук: „кхе!“

Брудье раскрыл глаза; с тупым изумлением он оглядел три прочих кровати, охотничий рог, потолок и, наконец, свою кровать.

Бенен сказал тоном человека, продолжающего беседу.

— Объясни мне свой план: кому ты рассчитываешь нанести первый удар: Амберу или Иссуару?

— Повторяю, я ничего не скажу до общего собрания. В эту субботу, в полночь, против центра фасада амберской мэрии — у тебя, у меня, у нас, у всех, — назначено свидание. Я там буду: там я буду говорить.

— Ну, пожалуйста! Хоть в общих чертах! А я расскажу тебе свой проект: он не из трухлявых!

— Ничего тебе не скажу. Меня бросает в пот от твоих вопросов, а ты знаешь, что испарина утром вредна.

Обдумав свой, далеко не трухлявый, проект, Бенен прыгнул с кровати и раскрыл окно.

Вся комната, казалась, вспорхнула как птица.

Казалось, что обормоты, Бенен и Брудье, подпрыгнули к крышам, к холмам.

Бенен ударился в импровизацию:

Был дом, похожий на бомбарду,
Что в деревенский взрывается праздник, —
До утра мы гнездились в нем;
И Брудье был похож на порох,
На селитру был похож Бенен.
Но фитиль поджигает солнце:
Вот когда разразится взрыв.

Брудье, охваченный вдохновеньем, выпрямился на кровати:

Я вырвался из ночи, как поезд из туннеля;
Вот уже на солнце клубится паровоз,
Но дребезжит под свдами вагонное охвостье.
Я вырвался из ночи, как поезд из туннеля,
К занавескам пассажиры бросились спросня.
Дует ветер. Путь ложится прямо,
И мое дыханье искрами поджигает травы.

* * *

Они умылись с звучной поспешностью. Умывальные чашки были гонгами, ведро — барабаном, ночной горшок — арфой.

Спустились в общую комнату. Покуда Бенен приводил в порядок велосипеда и убеждался в сохранности багажа, Брудье, чрезвычайно добродушно, заказал две порции кофе с молоком. Позавтракали, и Бенен потребовал счет.

— Сосчитать не трудно. Прежде всего — комната, по пятьдесят сантимов с человека.

Обормоты обменялись евангельски-ясным взглядом и с благодарностью взглянули на хозяйку.

— Один франк... Потом два вишневых ликера, по шестьдесят сантимов — франк двадцать; итого два франка двадцать.

Обормоты вторично обменялись взглядом, означавшим: вишневка дороговата. Но объясняется местными условиями, и роптать с нашей стороны было бы грешно!

— Потом, два кофе с молоком, по франку — два франка. Два франка и два двадцать — четыре франка двадцать...

Бенен поспешно вытащил пятифранковик и протянул руку за сдачей.

— Как раз то, что нужно: тридцать сантимов за освещение... четыре франка двадцать да тридцать будет четыре пятьдесят, и пятьдесят сантимов за хранение велосипедов... Не оставите ли вы маленький на-чаек?

— Как так?... Я что-то не видел прислуги! Разве вы не хозяйка?

— Хозяйка. Но, нужно вам сказать, прислуга ушла на свадьбу к двоюродному брату. Завтра она вернется... Почему бы вам ее не порадовать?

— О, за этим не станет, мадам! Завтра, на обратном пути!

* * *

Дорожка, на радостях, извивалась по лугам и кустарникам. Грунт был твердый. Крупной росой прибило пыль. Мелкие камушки хрустели под шинами. Обормоты поровнялись с небольшим подъемом. Бенен, называвший себя „страшилищем косогоров“, быстро срезал подъем. Брудье отстал.

Выехав на ровное место, Бенен с великолепной небрежностью отпустил руль. В спину ему дул ветер, и палило солнце. Брудье его догнал. Они быстро покатались дальше.

Показалась деревенька. Они врезались в нее, как в масло. Они чувствовали, как течет по сторонам ее податливое тесто, пахучее, с приятным ароматом.

Потом вырвались на дорогу — шире, прямее и увереннее. Она понравилась меньше.

Здесь расстояние получало казенную выправку. На ходу вас казарменно тыкали вежи километров. Беспрепятственно мчавшийся ветер обгонял вас, как богач в автомобиле.

Дома мелькали и справа и слева. Можно ли было назвать их деревней? Когда-то, в старину, здесь была площадь, мощеная булыжником и опоясанная кольцом домов, — замкнутый, самодвлеющий круг. Национальное шоссе все разворошило и снесло.

К полудню обормоты достигли какого-то незначительного местечка. На этот раз дорога оказалась победенной. Она положительно распухла домами. Что с ней случилось? Разбегались извилистые, гладко-выструганные улочки. Между ними затерялась униженная, пришибленная дорога, словно ханжа-старуха, которую ведут под руки.

Обормоты ткнулись туда-сюда в поисках гостиницы. Нашлись две, одна против другой. Как полагается они назывались „У белого коня“ и „У золотого льва“. Бенен склонялся к „Льву“, Брудье к „Коню“. Одно веское обстоятельство вывело их из пере-

шительности. Заметили трещину, во всю длину стекла в витрине „Белого коня“.

— Они не вставили нового стекла; вот бережливые люди, враги суетной роскоши. Очевидно, обед обойдется нам здесь на десять су дешевле, чем напротив.

* *
* *

Но спустя шестьдесят минут на столе перед ними стоял только сыр. Огромный сыр, неопределенного вкуса и округлой формы. Бенен заметил:

— Сегодняшний день начинается под знаком круга. Круг — закон нашего движения; он станет источником нашей силы. Отныне мы обязаны уважать все круглые вещи.

Брудье нескромно рассмеялся, словно в словах Бенена ему открылся какой-то двусмысленный намек.

Бенен повторил:

— Мы обречены кругу.

И мысль оборотов приняла форму круга. Комната стала пустым шаром, деревня — диском, и более, чем когда-либо, была оправдана шарообразность нашей планеты.

— Да, — сказал Брудье, — мы круглы; и по своему образу мы создаем мир.

На столе стояли два пустых литра.

— Вид этих литров тебя не трогает, — сказал, указывая на них, Бенен.

— Я уже растроган!

— Зияющее отсутствие вина! Невольно спрашиваешь: где же оно? Оно в нас. Ни одна капля вина не пролилась впустую. Мы можем добросовестно в нем отчитаться. И какое счастливое перемещение. Было обыкновенное вино, бесславный Арамон. И вот, оно стало мыслью выдающихся людей. Подумай, какое значение оно получило в нашей душевной жизни! Оно устроилось на новой квартире, как вздорная содер-

жанка, которая распоряжается, самовластно переставляет мебель, меняет драпировки и наводит ужас на старшую служанку.

— Не знаю, что перетянет на весах моего мозга: все мое прошлое или этот литр? Мало сказать: „Мы пьяны“. Каким именем назвать это приращение нашего „я“, это внезапное расширение границ подвластного нам мира и нашей мощи?

Сказав это, Бенен почувствовал страшную сухость в горле. Небо его пылало; оно стало жестким и терпким. Казалось, его вылудил дьявольский хирург. Кровь тяжело стучала в висках. Под черепной крышкой громыхали бильярдные шары.

— Я хочу пить. Что ты скажешь о бутылке „Экстра“?

— Попробую... тогда и скажу!

* * *

С этой минуты поступки разворачивались в героическом полусне. Мысль оборотов боролась с морскими хлябями. Как бы нейтральная зона отделяла их от предметов. Они не видели стен коридора, не прикасались к велосипедному рулю. Между глазами и стеной, между пальцами и сталью образовалась прослойка, рыхлая, как вата, и все же ускользящая. Движения их неизменно выходили немного иначе, чем были задуманы. Но в самой этой зыбкости было очарование.

Впрочем, обороты и не думали этим огорчаться. Они едва снисходили до самонаблюдения. Покуда тело боролось с коварством весомой материи, душа выпрямлялась, благородная и строгая. Она питала безоговорочную дружбу к существующим предметам и сочувственно поощряла разнообразные возможности.

— Никогда еще мне не были так понятны слова мудреца: „под углом вечности“, — сказал Брудье. — Никогда еще с такой победной силой я не чувствовал себя вечным.

Бег велосипедов и в малой степени не отражал опьянения. Вино, выпитое человеком, не просачивается в стального коня. Велосипед пьяницы катится прямо; велосипеды двух пьяниц катятся параллельно.

— Ты помнишь, — сказал Бенен, — до чего мы были нужны друг другу всякий раз, когда начинался этот опыт с вечностью.

— Да, ты прав. Если бы я был один, все пошло бы иначе. Между нами — как бы камень жертвенника. Я хочу сказать, что, когда ты со мной, у меня появляются опорные точки первостепенной важности. Язык заплетается, но я безумно хочу высказаться. Никто не знает, что такое дружба. О ней наговорили кучу глупостей. Один я никогда не испытываю уверенности, как сейчас. Я боюсь смерти. Всего моего бестрашия перед лицом вселенной хватает только на вызов. Но в эту минуту я спокоен. Оба мы, какие ни на есть, вдвоем, на велосипедах, мы едем по дороге; нам светит солнце, в нас радуется душа, и этим все оправдано, и я во всем утешен. Если бы жизнь моя исчерпывалась только этим, я бы не нашел ее бесцельной, даже не почувствовал бы смертной. И если бы мир сейчас кончался здесь, я не отказал бы вселенной в доброте и божественном смысле.

— Ты вспоминаешь, — сказал Бенен, — другие подобные случаи? Иногда я внезапно вспоминаю вершину огромной прошлогодней экскурсии. Мы плетемся вместе, рядом и к двум часам дня выезжаем на перекресток. Квартал был как раз в нашем вкусе: просторный, грустный и крепкий, где нет ничего показного, где все существует подлинно и сгущенно, где самые скрытные силы вселенной свободно растекаются по улицам, потому что никто их не подстерегает. Ты помнишь! Невысокие, неправильной архитектуры дома, фабричные трубы, слепая стена без окон и плакатов, красная вывеска кабачка в низке меблированного дома; и настойчивое

присутствие жизни, непрерывное выдыхание, ропот, — сплошной как горизонт. Помню, старик Брудье, как ты мне сказал: „Я счастлив“. Мы позавтракали в низенькой харчевне, словно осевшей на лапки. Мы пили кофе за два су в баре, а в другом баре пили за два су коньяк. Больше мы ничего не спрашивали; нам ничего не хотелось. И счастье наше было устойчиво: ничто не могло нарушить его равновесия. Великолепная радость жизни! Если дитя человеческое хоть раз в жизни познает эту полноту, ему уже нечего роптать на судьбу.

— Для меня, старик Бенен, 'день, о котором ты говоришь, не отодвинулся в прошлсе. Он продолжается без перебоев и без разрывов переходит в настоящий день. Не кажется ли тебе, что нечего опасаться вечера и ночи? В буднично-насыщенных днях я различаю, как последовательные все более и более тугие узлы, снижение солнца, час обеда, время ложиться спать; к вечеру день затянут в мешок как женщина, которую собираются бросить в море; но наш день никогда не кончается и не срывается в ночь. Он испаряется к небу.

* * *

У подошвы холмика, где предстоял небольшой подъем, дороги расходились вилкой. Здесь облюбовали себе местечко два, три дома. Над одной из дверей висела сосновая ветка.

Поставив под навес велосипеда, они вошли в кабачок.

За столом, под одним из двух окон сидел человек. Они выбрали стол у другого окна. Человек посмотрел на них, поклонился и как будто о них забыл.

Брудье повернулся к свету. Под давлением внутренних паров голова его шарообразно расплывалась. Но глаза спокойно сияли. Можно было сказать с уверенностью: он различал лишь наиболее устойчивые скрепы внешнего мира.

Внезапно одинокий посетитель кабачка заговорил:

— Должно быть, не холодно на велосипедах?

— А? Нет.

— Издалека едете?

— Из Парижа.

— Из Парижа? Когда же вы, значит, выехали?

— Сегодня утром.

— Из Парижа? Из Парижа сегодня утром? Ведь это, по крайней мере, восемьдесят льё!

— Как? Уже?

— Восемьдесят льё! Вы проехали восемьдесят льё! Без малого триста пятьдесят километров!

— Мы развили не плохую скорость, — скромно заметил Брудье.

— Теперь я понимаю, отчего у меня такая жажда, — сказал Бенен, осушая стакан.

— Жалко, что у меня почти размякла задняя шина, — сказал Брудье, — теперь мы опоздаем.

— Вы не знаете, далеко ли отсюда до Монбризона? — спросил Бенен.

— До Монбризона? Два часа по железной дороге.

— А мы-то думали там пообедать!

Человек погрузился в критическое раздумье.

Потом спросил:

— Вы гонщики?

— Я Жакелен, — сказал Брудье. — А это мой друг Санта-Какао, чемпион латинских народов Америки...

Он выпил глоток и любезно продолжил свои разъяснения:

— Мы тренируемся на рекорд тысячи километров в двадцать четыре часа.

Бенен прибавил с легким бразильским акцентом:

— Эта штука будет потруднее, чем я думал.

Человек больше не отвечал. Все его существо ушло в порыв восхищенья. Он выпучил глаза и раскрыл рот. Жакелена он пожирал глазам, а Санта-Какао — ртом.

Он думал:

„Дважды в жизни мне не увидеть подобных людей“

Брудье встал и сказал Бенену:

— Ну, старик Санто, кажется пора. Нечего нам особенно прохлаждаться!

Поднялся и Бенен.

— До-свиданья, — сказали они.

Человек почтительно выждал, пока они вышли на улицу. Только тогда он сорвался с места и выбежал на дорогу. Он жаждал насладиться зрелищем их отъезда.

— Интересно, как они возьмут этот подъем. Право, на это стоит поглядеть!

Бенен и Брудье вывели велосипеды на середину шоссе и медленно их оседлали. Колеса начали молотить кручу.

Бенен, немного размягченный остановкой, ёрзал. Однако, он карабкался довольно старательно, не хуже любого туриста.

Со второго нажима педали Брудье обливался потом. Тело его было совершенно разбито опьянением и палящей жарой. Ему казалось, что икры его, ляжки и бедра начинены толченым стеклом.

Брудье проехал зигзагами несколько метров.

Человек, торчавший посреди дороги, смотрел во все глаза.

Брудье крикнул:

— Эй, Бенен, я слезаю!

И слез.

Бенен последовал его примеру и подождал Брудье.

Когда Брудье его догнал, оба дружно пошли рядом, одной рукой придерживая велосипеды, другой — отирая пот.

* * *

Они шли по равнине, служившей основанием очень широкому долу. Руслу реки они не видели; но на востоке

виднелись холмы, которые они презирали, потому что подобные холмы встречаются во всех странах мира; на западе виднелись горы, которые внушали им уважение, потому что на них нельзя было подняться велосипедным способом.

Оглянувшись вправо, Брудье заметил посреди поля человека, передвигавшегося с необычной для пешехода быстротой.

— Там должна быть другая дорога, догоняющая нашу. Как ты думаешь, эта фигурка, между деревьями, — не велосипедист?

— Да, там, в самом деле, дорога, и она как будто скрещивается с нашей. Пожалуй, что это велосипедист!

— Он худощав и боится жары.

— Он тебе телеграфировал?

— Ничуть! Но он скинул куртку, и я слышу издали, как преют его ноги!

— У тебя гнусное воображение!

— У меня тонкое обоняние!

— Он должен нас видеть.

— Он нас видит! Он даже охвачен смехотворным соревнованием. Он приналег на педали: запах усиливается.

— Есть у него пакеты?

— Как будто!

— Он с бородой?

— Быть может! Зрение мое не сравнится с обонянием.

— Мне сдается, лицо его сплошь покрыто растительностью.

— Тс! Молчи!

Они услышали дикую музыку, таявшую на просторе равнины, как жир на сковороде.

— Эти звуки исходят от него?

— Да, он играет на свирели.

— И в то же время работает педалями?

— Отчего же нет? Это какой-нибудь мечтатель. Он захватил с собой тростниковую флейту и в пустыне изливает свою душу.

— Душа его бьет в нос.

Через две минуты Бенен, Брудье и велосипедист встретились на перекрестке.

— Лесюер! Лесюер!

Это был Лесюер. Для начала три друга обнялись.

Потом Бенен спросил:

— Куда ты едешь, Лесюер?

— По направлению к середине фасада амберской мэрии.

— Мы тоже.

— Не сомневался!

— Итак, дальше мы путешествуем вместе?

— Разумеется!

— Ты что-нибудь надумал, старина Лесюер?

— Придумал кое-что.

— Бенен, не докучай расспросами! Ни Лесюер, ни ты, ни я не откроют ничего из общих наших планов, пока не пробьет полночь, в субботу, перед центром фасада амберской мэрии. Ты сам отлично знаешь: это и наше и твое обещанье.

— А могу я все-таки спросить у Лесюера, что за арию играл он на своей флейте?

— Я играл прелюдию к „Парсифалю“.

IV.

СНАЧАЛА ТРИ, ПОТОМ ВСЕ ОБОРМОТЫ.

Бенен, Брудье и Лесюер выехали гуськом на маленькую площадь, освещенную комического вида фонарем. Они пообедали в Сент-Антене — на горе. День уже угасал, когда они встали из-за стола. С трудом поднимались они в черной гуще деревьев. Белеющая лента дороги, все более расплывчатая и призрачная, светила

им в темноте. Потом они были обморожены каким-то извилистым миражем, и им показалось, что винтообразной дорогой они проваливаются в недра земного шара. Бенен,— обладатель красного фонарика,— считавший себя знатоком топографии Центрального Массива, благополучно, без смертоубийства, довел до конца этот сумасшедший спуск вслепую. Брудье и Лесюер, забираясь вверх по крутому трэку дороги, упали друг на друга. Но велосипеды их так ловко сцепились вместе, что, вопреки всем вероятностям, они не сорвались в соседний овраг.

Начиная со встречи на перекрестке, они испытывали радость быть втроем. Верные дорожной привычке, Бенен и Брудье держались — первый справа, второй — слева. Лесюер попросту примостился слева от Бенена. Таким образом, они во всю ширину продергивали дорогу.

Время от времени Бенен покрикивал:

— Это омерзительно! Вы завладели боковыми тропками и скользите как по бархату. А я должен выплясывать на ослином хребте!

Но, по совести, он только с болью в сердце уступил бы свое место. Он был коренником всего ряда. Он приобщался ко всему, исходившему от Брудье и Лесюера; от него не ускользало ни одно восклицанье, ни один смешок. Иногда он повторял Лесюеру фразу Брудье, плохо расслышанную Лесюером. Он был счастлив, занимая центр,—самую щедрую область дружбы.

Внешний мир для него почти не существовал. Он едва различал пейзажи и достаивал их лишь беглым взглядом, когда Брудье или Лесюер говорили:

— Здоровенный воз! Неправда ли?

Будь то Орлеанское плоскогорье, он был бы не менее счастлив.

Ибо трем обормотам, которые едут рядом, не нужны ни люди, ни природа, ни боги.

* * *

Итак, они въехали на крошечную амберскую площадь. С полчаса они проблуждали по городу. Потеряли всякую надежду найти мэрию.

Внезапно, в углу площади, показался человек. Это был коммунальный страж, страж Амбера, страж амберского мира...

К нему подошел Брудье:

— Простите, господин полицейский: не скажете ли вы, где находится мэрия?

Страж амберского мира ответил:

— У вас фонарик есть. А у тех двух?

— Простите, господин полицейский, мы едем цепью, а согласно полицейскому уставу, как вам, конечно, известно, только передняя машина цепи обязана иметь сигнальный огонь.

Полицейский промолчал.

Бенен продолжал:

— Мэрия, должно быть, в том направлении?

— Ратуша? Городская ратуша?

— Да.

— Для чего вам понадобилась городская ратуша в три четверти двенадцатого ночи? Все канцелярии закрыты!

— Дело в том, что мы направляемся к одному родственнику, который живет как раз против ратуши.

— А! Это другое дело. Вот как: идите прямо по этой улице, потом сверните на вторую слева; потом заворачивайте по первой направо; пройдете сто метров заберете влево — и ратуша тут как тут.

Для исполнения указаний полицейского Бенену, Брудье и Лесюеру понадобилось не больше пятнадцати минут. Время приближалось к полуночи, когда на углу одного из домов они прочли: „Площадь мэрии“.

Тогда взорам их предстало странное сооружение, нечто в роде массивной колоннады, в сравнении с которой колоннада Парка Монсо была просто цыпленком.

— Что за штука, — сказал Брудье. — Неужто это амберская мэрия?

Они помолчали. Взмолвлено созерцали они этот памятник человеческого тщеславия.

— Однако, — неуверенно произнес Лесюер, — где же середина фасада?

Никто не посмел ему сразу ответить.

Наконец, Брудье сказал:

— Амберская мэрия принадлежит к тем, у которых фасад всюду, а середины нет вообще.

Они задумались в темноте.

— Что же нам делать? — спросил Лесюер.

— Я вижу только один исход, — ответил Бенен. — Друг за дружкой мы обойдем кругом амберскую мэрию. Мы будем равномерно двигаться по кругу. Таким образом, мы с логической необходимостью пройдем мимо середины фасада амберской мэрии, если такая точка вообще существует; если же, как я предполагаю, ее не существует в действительности, если это чисто отвлеченное понятие или, выражаясь яснее, геометрическое место, мы покроем его наверняка и, таким образом, выполним условие нашей встречи.

Никто не возражал.

— В каком направлении будем мы вращаться? — спросил Лесюер.

— По часовой стрелке.

Один за другим, они подошли к мэрии, толкая перед собой велосипеды; подойдя почти вплотную к зданию, они стали обходить его кругом, по направлению часовой стрелки.

* * *

Спустя несколько мгновений на площадь вступил Гюшон, с чемоданом в руках. Он был очень близорук. Вначале он различил поэтому лишь массивную глыбу, торчавшую в темноте. Он направился к каменной массе.

„Не знаю, где фасад, — подумал он, — но наверно найду его, если обойду кругом“.

Он начал свой обход влево. Шел крупными шагами.

„Очевидно, — думал он, — это подобие округленного абсида. Я его огибаю. Фасад, безусловно, с другой стороны“.

Но стена упорно перед ним заворачивала. Казалось, он вернулся к исходной точке.

„Любопытно! Меня, очевидно, обманывает какое-то ухищрение архитектурной симметрии. Это внушительное здание, как я предполагаю, украшено правильно расположенными куполообразными пристройками. Огибая их поочередно, я двигаюсь вокруг основного архитектурного ядра. В конце концов, я найду фасад“.

И он продолжал прогулку.

Пробило полночь, когда с противоположной стороны показались Омер и Ламенден. Они высадились на амберском вокзале около десяти вечера, сняли номера в гостинице, добросовестно почистились и поскреблись. Их радовало, что они не опоздали ни на одну секунду.

— Вот мэрия, — сказал Омер. — Мы не спешили; ни у кого не спрашивались о дороге и все же успели сюда с точностью лунного затмения.

Они подошли к стене вплотную.

— Глянь-ка, — сказал Ламенден, — здесь, как будто, округлый портик. Своеобразная идея! Фасад, очевидно, с другой стороны.

И они пошли в обход, по направлению влево.

— Я слышу, как будто, шаги, — сказал Ламенден.

Омер ответил ему небрежно:

— Это честные провинциалы расходятся по домам. Обычно они ложатся в девять. Но в субботу вечером они позволяют себе небольшие излишества.

Они продолжали вращаться.

Позади, метрах в десяти, шел Гюшон, все еще круживший со своим чемоданом, упорно повторяя:

— Обхват этой мэрии трижды превосходит Пантеон. Кто мог подозревать, что здешний муниципалитет так роскошествует!

А еще дальше, в двадцати метрах, шли Бенен, Брудье и Лесюер с велосипедами, вращавшиеся подобно Гюшону, но уже без всяких иллюзий.

Вдруг Бенен остановился:

— Господа, попробуем маневр в обратном направлении. Ведь Колумб, стремясь западной дорогой в Индию, открыл Америку.

Они переменили фронт. Лесюер оказался впереди.

Пройдя несколько шагов, они наткнулись на двух прохожих, один из которых говорил:

— Эти мощные округлые формы выдают византийское влияние.

Другой отвечал ему:

— Мы бы давно уже пришли, если бы вращались вправо!

* * *

— Господа, — сказал Гюшон, — уже час! Мы потратили ровно пятьдесят минут на препирательства и обсуждение наших планов. Пора кончать! Но сначала пусть кто-нибудь подойдет к мэрии — поглядеть не подоспел ли Мартен.

— Ты шутишь! Мартен, четырежды проворонив пересадку и трижды перепутав маршрут, едет теперь в поезде „микст“ между Барселонеттой и Гапом. Он протирает окно занавеской, и взгляд его полон тревоги.

— Не настаиваю... Но нужно на что-нибудь решиться. Мы условились остановиться на трех лучших проектах, точнее, отобрать из четырех три. Всего проще проголосовать. Пусть каждый на клочке бумаги напишет три предложения, к которым он склоняется. Соберем записки и подсчитаем голоса. На это требуется пять минут.

— В отношении, по крайней мере, двух из этих проектов всякое голосование я нахожу излишним, — сказал Ламенден, надув щеки и рассекая воздух резкими движениями носа. — Лесюер и Бенен кое-что уже подготовили, скомбинировали; за ними неотъемлемые права. К тому же, разве, их идеи не самые соблазнительные? Нам остается лишь их сакционировать!

— Пусть так, — сказал Гюшон с оттенком некоторой горечи, — но это лишь два проекта! Я настаиваю на голосовании, чтоб выбрать третий.

Согласились. Сам Гюшон занялся подсчетом.

— Четыре голоса за проект Брудье. Два голоса за мной. Принят проект Брудье.

По совещательной палате пробежал парламентский ропот.

— Нечего устраивать свистопляску, — сказал Омер, при чем цинковое лицо его слегка зарумянилось. — К чему эта буча? Люди и без того уже смотрят с опаской на шестерых незнакомцев, свалившихся глубокой ночью в их городок. Если мы будем вести себя подозрительно, они позовут полицию.

Обормоты приняли к сведению, что нужно говорить потише.

— Теперь, — сверкая глазами из-под очков, сказал Гюшон, — выслушаем трех протагонистов. Пусть каждый из них с окончательной точностью укажет место, время и порядок задуманного дела. Какого рода помощь нужна им? Какие сотрудники?

— Я, — сказал Бенен, — буду действовать на торжественной обедне в здешнем городском соборе.

— Я, — сказал Лесюер, — действую к пяти часам пополудни в Иссуаре. Но выехать я должен рано утром, и мне нужны провожатые.

— Я, — сказал Брудье, — рассчитываю действовать через час. Мне нужна небольшая свита.

— Ни в коем случае нас не хватит! Ах, если бы здесь был Мартен!

— Не нужно бесплодных вздохов, — сказал Гюшон. — Разберемся по порядку. Сначала займемся Брудье.

— Слушайте, — сказал Брудье, — все устроится в две минуты. Мартен не там, где вы думаете. Он не в курьерском поезде между Барселонеттой и Гапом: он в Амбере, в номере Отель-де-Франс. Отель-де-Франс в ста метрах отсюда. Там спит Мартен.

— Ты болтаешь вздор.

— Мартен не любит поздно ложиться, а в совещании, на худой конец, можно обойтись и без его мнения. Я сам посоветовал ему приехать в Амбер к девяти часам и сейчас же лечь в постель. Не сомневаюсь, что он меня послушался. Как-никак — он выверенный и четко мыслящий человек. Не смейтесь!.. — Он не опоздал к поезду. Поверьте, он нашел гостиницу. Он даже не посеял в дороге тючок, который я поручил ему привезти.

— Что у него в тюке?

— Два шелковых пружинных шапокляка, две сюртучных пары, кавалерская лента Почетного Легиона и офицерская розетка. Согласны ли Омер и Ламенден сослуживать мне в моем предприятии?

— Отчего же нет?

— С удовольствием!

— Наружностью, телосложением и лицом они соответствуют моим видам.

— Вы готовы, господа? Тогда отправимся в Отель-де-Франс. Вы облачитесь в мои сюртучные пары, и, я вручу вам немедленно значки Почетного Легиона. Мне, как министру, подобает остаться в пиджаке; я освежу щеткой шляпу и обойдусь без орденов. Мартен, в скромном сером костюме и мягкой шляпе, сойдет за секретаря.

— Все это блестяще задумано, — сказал Гюшон. — Но куда денутся тем временем остальные?

— Остальные, — сказал Бенен, — будут разрабатывать мой проект и проект Лесюера. Потом мы выйдем подышать воздухом и побродить около казарм. В ночной тишине мы будем напряженно ждать гулкого взрыва назревающих подвигов. По наружным волнам заключим об их действительности. Нащупаем их размах, порадуемся их грандиозности. Мы услышим, как они обрушатся на спящий Амбер.

— Но где же мы встретимся? — сказал Брудье.

— Здесь... в гостинице...

— Хорошо... Омер? Ламенден? Готовы?

— Да.

— До-свиданья, господа!

— Обнимемся на прощанье?

— Ладно.

V.

СОТВОРЕНИЕ АМБЕРА.

Когда они вышли из-под колоннады, после довольно неприятных препирательств с ночным сторожем, Брудье еще раз оглянулся на мэрию.

Светилось одно окно во втором этаже.

Вокруг живого огонька прозябал спящий Амбер.

— Господа! Взгляните на это окошко! В нем есть что-то трогательное. На весь Амбер — единственный огонек! Одна только мысль теплится во всем Амбере! Даже амберский полицейский прикурнул, прислонившись к стенке.

Страшно подумать — до чего люди, там, наверху, и мы, здесь, являемся хозяевами города: мы божество города, чуждое, опасное божество; мы — боги-захватчики.

— Поверьте мне! Меня страшит наше могущество, и отданный на нашу милость город внушает мне сострадание.

Они двинулись в путь. Брудье снова остановился и вынул из кармана небольшой сверток.

— Минуточку, господа ; дайте мне прицепить бороду. Я хочу войти в Отель-де-Франс с министерской физиономией: К ней полагается борода. Об этом вы не подумали ! Помощник государственного секретаря, личность которого я сегодня хотел бы изобразить средствами моей наружности, бородат как Карл Великий. Впрочем, рост его и телосложение подходят к моим. Накладная борода окончательно довершит сходство между мной и моим двойником.

Они зашагали дальше.

— Удивительно, что никто из вас раньше не обратил внимания на мой бритый подбородок ? Даже Гюшон сплеховал ! Где витал его критический ум ?

— Все к лучшему : благоприятное предзнаменование ! Сами жертвы твои ничего бы не заметили. Самый недоверчивый из них сказал бы : „Странно ! Господин министр сбрил бороду. Как он переменялся !“

Подошли к Отель-де-Франс.

— Где тут звонок ?

— Есть ! Я вижу его в темноте.

Долго звонили. Ночной слуга открыл дверь. Он казался встревоженным.

— Что угодно господам ?

— Будьте добры, проведите нас в комнату господина Мартена.

— Господина Мартена ? Такого у нас нет...

У всех пересохло в горле.

— Быть не может ? Вы уверены ?

— Как сказать ? Два-три приезжих еще не записались в книгу... Может быть, один из них ?..

— Речь идет о приезде лет двадцати пяти-тридцати ; рост обыкновенный, обыкновенный рот, обыкновенный нос, обыкновенный лоб, особых примет ника-

ких; он приехал к девяти часам вечера с полотняным саквояжем каштанового цвета.

— Да, да! — воскликнул малый, задрожав всем телом. — Это седьмой номер!

А вот что он подумал про себя:

„Это судьи! Они должны арестовать постояльца из седьмого номера. Седьмой номер — убийца-анархист. У каждого убийцы-анархиста припасено четыре автоматических револьвера и двести разрывных патронов. Не иначе как с последним разрывным патроном отдаст овечка свою шкуру!..“

* * *

Постучали в дверь седьмого номера. Слуга забился в самый конец коридора, и свеча так сильно дрожала в его руке, что весь пол был закапан стеарином.

Пришлось стучать неоднократно. Наконец, раздался слабый голос:

— Кто там?

— Это мы! Пошевеливайся!

Дверь подалась. Брудье крикнул слуге:

— Дайте нам света!

Но пришлось самим итти за слугой. Он не двигался с места: он ждал, когда заговорят браунинги.

Обормоты вошли в комнату. Мартен, в ночной рубашке, попятился перед ними, выражая одновременно изумление и радость.

— Ты не узнаешь меня с бородой? Успокойся, друг. Каждая минута нам дорога. Дверь на ключ! Поздравляю тебя с аккуратностью, Мартен. Теперь давай сюда саквояж! Так! А ключ? Не обращай на нас вниманья! Живо одевайся!

Он открыл саквояж.

— Ты самый рослый, Омер. Вот тебе сюртук, как раз впору! Тебе придется немного поднять подтяжки...

Вот твой сюртук, Ламенден! Застегивай борт только на одну пуговицу. Боюсь, что сюртук тебе узок!

— На одну пуговицу — шикарно! Лучше я не надену жилета!

— Как хочешь. Торопитесь же! Торопитесь! Я займусь бородой и приведу себя в порядок.

Все заторопились.

— Проверьте, в порядке ли шапокляки, не покривились ли пружины, не нужно ли почистить щеткой шелк!

Несколько минут прошло в молчаливой работе. У Мартена на языке вертелась тысяча вопросов. Но он никогда ни о чем не спрашивал.

— Я готов, — сказал Омер.

— Хорошо. Подойди. Одерни рукава и воротник. Недурно. Жалую тебя кавалером Почетного Легиона. Благодарности не нужно. Всякий поступил бы так же точно на моем месте. Ты достаточно долговяз и тощ, у тебя красный нос, в облике твоём есть нечто желчное и алкоголическое: ты будешь моим военным атташе. Какой чин тебе улыбается? Полковничий? Ты слишком молод. Почему не капитан? Я буду звать тебя: „капитан“. Ты зовешь меня: „господин министр“. Понял? Проходи! Ламенден!.. Твоя очередь! Но сюртук сидит на тебе как перчатка! Чуть-чуть морщит под мышками, да еще колбасой вздувается на животе. Впрочем, для тебя не обязательно военное изящество твоего коллеги. Высшему чиновнику никогда не мешает известное дородство, какая-то обрюзглость ума и тела, какое-то неуловимое нисхождение мозгов в ягодицы. Не забывай: ты созрел в канцеляриях. Возраст и усердие выдвинули тебя на ответственный пост. Я буду звать тебя: „милейший директор“. Идет?

— Понял.

— Тебе я жалую всего лишь красную ленту. Весьма сожалею. Наденьте шляпы! Гм! Лучше бы вам обме-

няться! В другой шляпе Омер будет не так смешон. Мартен! Ты мой личный секретарь. Я буду звать тебя то так, то эдак: „Мартен“, „милейший Мартен“, „дорогой друг“. Ты откликаешься: „господин министр“, с еще более плоским подобострастьем, чем остальные. Что до меня, то я, как видите, изысканно-небрежен в одежде и усвоил властно-добродушный тон, приличествующий верховному служителю демократии. Вы — моя приправа. Я — носитель самостоятельной власти, вы же несете за мной мое величие, как лакей несет пальто. Тридцать восемь минут второго... Можно идти...

* * *

— Уж близко! Уж близко! Я слышу запах казармы! Чует мое обонянье тошнотворную смесь пота, кожи и коксового перегара! Вдохните эту вонь! Эту гигантскую клоаку! Вам не кажется, что поднимаются испарения из сточной ямы в зимний день? Нет... это не так нежно, не так томно, — это более мужественно... Тс! Мы пришли. Видите, там: решетка и два газовых фонаря! Стойте. Я должен взвесить предприятие во всем его объеме.

Они почувствовали, как роилась кругом их пытливая душа. Она прощупывала Амбер, пощипывала Амбер, но Амбер не двигался. Она уже наметила казарму, но медлила в нее втереться. Вытаращив глаза, они переглянулись.

Брудье был их великолепным средоточием. С шапо-кляка на бороду, с бороды на живот, с живота на башмаки величие его струилось водопадными струйками. В нем безукоризненно воплощался идеальный радикал-социалист. Глаза его излучали сиянье высшего начального образования. Улыбка его казалась обращенной к табль-д'оту. Но посадка его головы говорила о суверенитете гражданской власти.

Омер, с красным носом, с зеленоватым оттенком лица, немного напыжился, глядел угрюмо. Его не

видели, а скорее угадывали по крупной розетке с левой стороны груди. Очевидно было, что Омер не из тех советников, которые размягчают волю министра.

И Ламенден внушал меньшую опаску. Толстощекий, широкоплечий, по началу он даже располагал к себе. Тревогу наводил его нос, длинный, узкий, изогнутый, как устричный нож.

В Мартене угадывался маменькин сынок, довольно задачливый, хотя преждевременно обрюзгший, безвредный грибок, прорастающий в приемных.

* * *

Брудье закурил папиросу. Он выступил: по бокам его — Омер и Ламенден, сзади — Мартен.

— Часовой! Позвать сюда дежурного сержанта!

Часовой стремительно вскидывает ружье на плечо и барабанит в форточку:

— Сержант! Сержант! Сюда! Живо!

Слышится приглушенная ругань. Кто-то покидает караульню, отпирает решетчатую калитку.

При свете фонарей он видит двух господ в цилиндрах и при орденах; они сопровождают бородатого господина, который курит и кажется далеко не первым встречным. Немного поодаль он видит другого господина с портфелем.

Выпучив глаза, он отдает честь и впадает в фронттовую стойку, подобно тому, как впадают в каталепсию.

— Сержант! Пусть немедленно вызовут полковника и обоих батальонных командиров! Я буду ждать их здесь.

Сержант козыряет, срывается с места, входит в караульню и, рыча, отдает приказание.

Все дежурное население изрыгается из караульни. Двое людей выходят за решетку, тупо созерцают четырех штатских, мгновенно колеблются, потом козыряют и быстрым шагом исчезают в темноте. Другие — про-

тирают глаза, надевают кепи, опоясываются порту-
пьями, пристегивают патронташ и поспешно выстраи-
ваются в два ряда.

Сержант рычит:

— Смирно!.. Ружья на плечо!

Брудье сухо останавливает его.

— Не шуметь! Не подымать тревоги! Соблюдать пол-
нейшую тишину! Никто не должен быть разбужен и так
или иначе предупрежден до прихода старших офицеров.

Сказав это, Брудье со свитой прошел за решетку.

Сержант ринулся в логово караульни и извлек
оттуда стулья.

— Спасибо! Мы пройдемся немного по двору.

Двор освещался всего лишь двумя фонарями.
у решетки. Запахи преобладали здесь над светом.

— Друзья,—сказал Брудье, когда они отошли немного
от караульни,—я испытываю кошачью радость. Какое
острое наслажденье. Вы видели сержанта? Кувалда!
Я побывал у них когда-то в лапах. Приветствую тебя,
сладострастье мести. А вообразите-ка поживей тех
двух мерингов, скачущих во мраке! Друзья мои, целый
котел радости варится для нас.

Ночь исходила нежным зловоньем.

— Как вам нравится эта толстуха-казарма, при-
севшая на корточки? Сновиденья наслаиваются под
ней кучей, как навоз под коровой. В руках у меня
хворостина: сейчас корова вскочит!.. В эту минуту,
обормоты выходят из гостиницы; они крадутся по ули-
цам, они идут к нам.

— Осторожней, не кричи!

— Нас не слышат... В худшем случае, сержант
подумает, что я сержусь; от ужаса он заболит мед-
вежьей болезнью.

Так говорили они, прохаживаясь по двору. Вдруг
со стороны караульни послышалась какая-то возня,
и шаги захрустели по песку.

— Это полковник... или один из капитанов: Мамбр или Пюсманж.

— Как ты сказал?

— Одного батальонного командира зовут Мамбр, другого—Пюсманж. Так гласит армейский справочник. Я тут не при чем.

Человек был уже в десяти метрах. Он был в кепи и при сабле. Вдогонку ему оборачивались фонари.

Брудье встрепнулся. Человек остановился, козырнул и вытянулся во фронт.

— Господин министр!

Брудье толкнул под локоть Ламендена.

— Господин министр, я поспешил явиться, как только узнал о вашем прибытии... Разумеется, я не спал... я не ложился... я бодрствовал: я изучаю баллистику!..

— Капитан Мамбр, если не ошибаюсь?

— Никак нет, госп...

— Капитан Пюсманж?

— Так точно, господин министр!

— Вы нам представитесь немного после.

Наступило молчанье. Все, кроме Брудье, испытывали неловкость. Брудье же, выпятив живот и запустив пальцы в бороду, предавался размышленьям государственной важности.

Снова послышался шорох из караульни и шаги по песку. Появление батальонного командира Мамбра почти повторило явление Пюсманжа.

Зато полковника пришлось дожидаться целых пять минут. Он был грузен и взволнован.

— Господин министр!.. Я так смущен!.. Я спешил по мере сил!.. Весьма польщен вашим посещеньем!.. Мы видим в нем доказательство высоких забот... Позвольте мне...

Официальное представление совершились в темноте.

— Капитан Мамбр: командир первого батальона...
Капитан Пюсманж: командир третьего...

— Я знаю вас, господа... я просматривал ваши послужные списки... знаю, на каком вы счету... Позвольте мне, в свою очередь...

Одного за другим Брудье назвал прикомандированных к нему чинов:

— Господин полномочный директор Шамбо-Бюртен... капитан Сен-Бри... господин Мартен — мой личный секретарь.

Ламенден поклонился с двусмысленной улыбкой; Омер, все более и более угрюмый, совсем одеревенел; Мартен проявил неуклюжую почтительность.

— Господин полковник! Проводите нас прежде всего на кухни; если вы разрешите, мы начнем наш обход с кухонь.

Полковник взглянул на двух капитанов; капитаны взглянули на полковника.

— Дело в том, господин министр, что ключи от кухонь находятся не в нашем распоряжении.

— Где же они?

— Они отданы дежурному офицеру.

— Где же он?

— Должно быть, у себя дома, господин министр.

— Хорошо... пошлите за ним.

Министр говорил вежливо, но твердо. Капитан Сен-Бри явно нахмурил бровь и поджал губы, что не ускользнуло в темноте от батальонного командира Пюсманжа. Полномочный директор Шамбо-Бюртен смущал полковника небрежно-напускным терпением.

Батальонный командир Мамбр пошел распорядиться в караульню.

— Погуляем немного, — сказал министр.

Он направился к главному зданию. Справа от него шел полковник, слева — директор Шамбо-Бюртен, а капитана Сен-Бри, шагавшего сзади, сопровождали батальонный командир Пюсманж и личный секретарь.

Вскоре вернулся батальонный командир Мамбр. Солдат нес за ним фонарь.

— Господин полковник, вестовой послан разбудить дежурного офицера: я привел сигнальщика.

— Хорошо.

Капитан Мамбр и сигнальщик замыкали процессию.

— Эти строения, — сказал министр, — очевидно, ватерклозеты?

— Да, господин министр, это ночные ватерклозеты; люди проходят туда внутренним ходом; таким образом, они не страдают от дурной погоды и холода.

— Великолепное устройство!

— Дневные ватерклозеты расположены в стороне, у наружной стены.

— Отлично! Осмотрим ночные ватерклозеты.

Министр поднялся по ступенькам. Он очутился перед железной дверью без щиколды. Внутренность помещения освещалась газовым фонарем; отсюда брал свое начало поток зловонья. Министр открыл дверь.

— Пожалуй, не особенно грязно! А спуск в исправности?

Полковник собственноручно продемонстрировал спуск.

— Выгребные ямы очищаются ежемесячно?

— Каждые восемь дней, господин министр.

— В жаркие дни озаботьтесь по утрам поливать их мазутом.

Министр проследовал дальше.

— Я заключаю, что у ваших людей понос.

— Некоторые, господин министр, действительно больны, — именно те, что посещают ночные ватерклозеты. Но могу вас заверить, что качество материи дневных ватерклозетов, в общем, превосходно.

Во дворе шествие возобновилось прежним порядком.

— Сколько больных у вас в лазарете?

— Нормальная цифра — кажется, тридцать.

— Заразных нет?

- Чесоточные, господин министр!
— Много заболеваний?
— О, нет!.. Пять или шесть...
— Источник заразы установлен?
— Люди, знаете, заражаются в городе...
Министр изъявил желание осмотреть лазарет.

* * *

— Ваше впечатление, дорогой директор? — спросил Брудье, выходя из лазарета.

— Мое впечатление, господин министр? Его нельзя назвать резко неблагоприятным. Конечно, все эти полковые лазареты далеки от совершенства, — директорский нос, как ножом, рассек воздух, — но этот содержится относительно недурно. Очень жаль, что чесоточные не снабжены приспособленьями, принятыми к употреблению в современных больницах.

— Какими приспособленьями, господин директор?

— Маленькие деревянные скребницы с рукояткой для области ^испинного хребта и терки из наждачной бумаги для других частей тела. Люди почесываются в свое удовольствие: это чище, чем ногтями.

Шествие достигло середины двора.

Брудье остановился, кашлянул, выждал и произнес изменившимся голосом:

— Для обозренья кухонь, господа, у меня не хватит времени: наше внимание и ваше усердие будут направлены на более важный предмет!

Он выдержал паузу.

— Как вам известно, я поставил себе строжайшим правилом никогда не переступить границ своей компетенции. Пусть те, кому надлежит, испытывают уровень военной подготовки и строевые качества войск, вверенных вам республикой. Вы можете гордиться образцовыми руководителями, вышедшими из ваших же

рядов... Я вполне полагаюсь на этих технических начальников.

Он снова помолчал и продолжал, понизив голос:

— В задании, которое мы собираемся вам дать, неотложно, я сказал бы даже: остро, заинтересован совет министров. В виду этого, господа, я рассчитываю на сохранение вами абсолютной тайны. Маневры, которые должны произойти, не могут, разумеется, пройти совершенно незамеченными жителями. Но важно, чтоб гр жданское население не догадалось об их истинной сути. У правительства, повторяю, есть свои соображения по вопросам внутренней политики, и оно хочет быть готовым ко всяким случайностям. Мы знаем вашу лояльность и вменяем вам в обязанность не разглашать распоряжений, которые вы сейчас получите. Дабы молчание ваше не показалось подозрительным, разрешаю вам говорить, что внезапно вас посетил военный инспектор и приказал устроить ночную тревогу. Ни слова больше! Кроме того, если местные газеты напечатают о приезде министра или же сообщат какие-нибудь подробности, вы должны будете их опровергнуть самым недвусмысленным образом.

Растроганные и польщенные, три офицера успокоили министра и заверили его, что все произойдет согласно его желаниям.

— Теперь мне понадобится фонарь. Но сначала удалить этого солдата!

У сигнальщика отобрали его отличительную принадлежность и отослали его в караульню.

— Дайте мне портфель, Мартен!

Секретарь подал министру портфель. Раскрыв портфель, министр вынул из него большой конверт с сургучными печатями.

Печати хрустнули.

— Вот задание, при котором мне поручено присутствовать, и которое вы сообразовите исполнить:

„В ночное время, группа вооруженных заговорщиков, пользуясь благоприятным стечением осложнившихся обстоятельств, рядом насильственных выступлений, завладела супрефектурой, мэрией и арестовала на дому мэра. Стремясь закрепить за собой коммуникационные узлы, преступники пытаются занять вокзал и почту. Но, натолкнувшись на упорное сопротивление служащих, они вынуждены прибегнуть к длительной осаде поименованных учреждений.

„Извещенный о событиях, полковник срочно приводит в боевую готовность войсковые части; он направляет их в наиболее угрожаемые пункты, предписав действовать энергично и быстро.

„Раздаются холостые патроны. Пятьдесят человек с белыми козырьками, вооруженные револьверами, изображают заговорщиков.

Оратор с минуту помолчал, потом продолжал:

— Как видите, господин полковник, в выборе средств к исполнению задачи вам предоставляется самая широкая инициатива. Я не буду подчеркивать слов „быстрота“ и „энергия“ — подлинных выражений приказа, — не буду повторять настоятельных советов, с которых я начал. Вашим подчиненным вы дадите лишь самые необходимые и скупые пояснения. На моих часах без двадцати три. Светает, кажется, в половине пятого. Желательно все закончить до рассвета.

* * *

Без четверти два Бенен сказал:

— Не пора ли выходить? С минуты на минуту шайка Брудье сигнализирует о захвате власти! Боюсь, мы пропустим первый залп.

Бенен, Лесюер и Гюшон вышли на улицу.

Земля и ночь были плотно пригнаны друг к другу. Городские дома и улицы, все выпуклости и выбоины казались лишь шипами и гнездами этой спайки.

В прозрачной тишине каждый звук просвечивал, как камушек в воде. Гюшон заговорил:

— Амбер менее реален, чем кладбище Пикпюс. Мы переоценили этот город. Нам не удастся оплодотворить его событием. В самом деле, вслушайтесь, вникните в этот сон! Вживитесь в это „ничто“!.. Нет, нет! Я отвергаю возможность сотворения из „ничего“! Не правда ли, мы находимся здесь... хотя и это осознается не особенно твердо, так как столь полное отсутствие всякого бытия, до ужаса похожее на ощущение сна, не прикрепляет сознание к определенному месту... Мы находимся здесь... Мы здесь чего-то ждем... И что же? Ничего не случится, ничего не может случиться.

Разведя руками, он прибавил:

— Нет даже газовых фонарей!

— А полицейский, — сказал Бенен. — Вот страж пугающего тебя спокойствия! Ты посмеешь сказать, что никто не стоит на страже спокойствия Амбера?

— Молчи! Это сам дьявол. Грубое воображение средних веков помещало сатану в царство воплей и языков пламени. Сатана правит антиподами бытия. Он владыка несуществующего. Он стережет небытие. Воистину, он — страж спокойствия Амбера.

* * *

Они вышли на крошечную площадь, где ночь была еще гуще, чем на улицах, и было еще тише. В глубине души они радовались, что их трое.

— Чего доброго, нас еще арестуют! Казармы, кажется, достаточно близко. Здесь мы ничего не пропустим, а нас никто не увидит.

— Который час?

— Пол-третьего или тридцать пять минут...

— Я начинаю беспокоиться.

— Я тоже немножко.

— Если хорошенько взвесить, опоздания еще быть не могло... Им нужно было переодеться, пройти туда и обратно...

— Все-таки я беспокоюсь.

Они умолкли, вслушиваясь в ночь. Все вынули часы. Бенен высморкался, чтобы лучше слышать, Гюшон вынул из ушей вату. Лесюер из старого конверта смастерил слуховую трубку. Затем они впали в мрачное ожидание, испытывая лишь легкое лихорадочное удовлетворение быть втроем.

Вдруг крик:

— Одевайсь!.. Одевайсь!.. Одевайсь!..

Они подпрыгнули.

Сигнальные рожки вспыхнули как молнии, прополыхали зигзагами, казалось, совсем близко, чуть ли не рядом. Это разразилось как удар грома.

— Чорт возьми! Вот это здорово! В жизни я не был так счастлив!

Тревога возобновилась в четырех углах казармы.

Потом оборвалась.

Несколько мгновений черной тишины. Водоворот. Пропась, куда низвергаются существа вещи.

— Взводные к командиру! Взводные к командиру!
Взводные к командиру!

Снова тревожный рожок. Сигнал лихорадки и тревоги.

Трое оборотов содрогались, как парижский дом от проходящего автобуса.

С этой минуты полился поток неравномерных, но непрерывных шумов, глухие и бурчащие звуки: знак огромного переполоха.

Внимание оборотов было так напряжено и обострено, что время утратило для них протяженность.

Они впивали шум; они ощущали малейшие его колебательные волны; они им дышали.

— Все на двор! Все на двор! Все на двор! Все на двор!

Шум набухал, стал более резким и дробным. Это был шум обвала, оползня, как бы отгул подземного сдвига.

Снова тревожные рожки и крики команды, приглушенные расстоянием.

— Они шевелятся! Сейчас они вылезут. Неужели мы останемся здесь?

— Куда мы пойдем?

— К казармам.

— Хорошо. Лишь бы нас не заметили! В такую ночь, как сегодня, три блуждающих человека покажутся подозрительными.

— Легко остаться в тени: нужно только держаться переулочков.

Вошли в переулок. Крались как взломщики, настрожившись, прижимаясь к стенам. Дважды свернули налево.

Сделали крюк и очутились перед довольно широкой, наподобие бульвара, улицей, которую предстояло пересечь.

— Гм!.. Некстати! Перемахнем, что ли?

— Слушайте!

Остановились. Послышалось отрывистое, с правильными промежутками, царпанье: звук, несколько напоминающий поскребывание паровика, идущего в гору.

— Тс! Это приближается.

— Должно быть, они!

— Но как странно!

Забились в угол.

— Идут по бульвару. Сейчас мы увидим, что это значит.

Но вот показался ряд согнувшихся людей. Потом второй, третий. Ряды выростали пачками.

— Смотрите... они идут походным шагом!

— Они бегут! Они летят! Это энтузиазм!

— Но сколько их?

- Взвод, пожалуй.
- Да... А вон те?
- Говорю тебе, что это взвод!
- Что за штуки у них на кепи?
- Да, верно! У них белые козырьки.
- Странно! Очень странно.
- Это здорово закручено, друзья мои! Я всегда говорил, что Брудье великий человек!

* * *

Пошли дальше с удвоенной осторожностью. Их несколько смущала необходимость скрываться при полном незнакомстве с планом города. Но если в Лондоне, среди бела дня, тысячи прихотливых сил заставляют прохожего плутать, сбивая его с толку, то в Амбере, даже в кромешную ночь, выйдет на правильную дорогу самый недогадливый человек.

Вышли на перекресток. На углу болталась старая вывеска. Бенен — вожак — остановился.

— Кажется, мы недалеко от места событий. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это присесть на тротуар и закурить трубку.

Уселись.

Вдруг раздался выстрел; потом еще два.

Лесюер задул спичку.

— Слышите!

— Я не сказал бы, что это ружейные выстрелы: слишком прерывистый звук.

— И всего только три выстрела!

— Тише!

Справа, из-за толщи домов, обрывавшихся вывеской, совсем вблизи, послышался шум: крики и бряцание оружия.

Еще два выстрела; потом шесть выстрелов, один за другим.

— Это уже револьверы!

— Догадываюсь: белые козырьки, револьверы! Тут действует рота, изображающая инсургентов.

— Ты думаешь?

— Но что же тогда делают остальные?

— Молчите!

Шум почти прекратился. Лесюер чиркнул спичку.

Над ними щелкнула об стену ставня. Раскрылось окно. Обороты вздрогнули. Лесюер стремительно задул спичку.

— Тс! Жмись к дверям!

— Дайте мне хоть взглянуть!

Некто показался наверху: очевидно, буржуа, в ночной сорочке с обвязанной фуляром головой.

— Ага! Амбер зашевелился. Теперь видишь, Гюшон: Амбер существует!

Треск ружейного залпа, подобно сдвигу механической пилы, срезал его речь.

Затарактело по улицам. Сон отлетел. Раскрылось несколько окон. Из них выглядывали мужчины и женщины в сорочках.

Из дома в дом перекликались:

— Что случилось?

— Что происходит?

— Наверное, взрыв?

— Быть может, убийство?

— Не в газометре ли дело?

— Газометр! У них газометр! — мечтательно сказал Гюшон, лаская взглядом девственный мрак.

— Молчи!

— Ты здесь, Бенен?

— Да... как видишь.

— Тебе не кажется, что благоразумнее будет двигаться? В конце концов, мы обратим на себя внимание.

Стрельба возобновилась, еще более отрывистая и свирепая. Как будто сотни людей затеяли перестрелку — в разбивку и небольшими пачками.

Спокойствие Амбера не могло устоять. Подобно неисчислимой пыли, поднимающейся из выколачиваемого ковра, отовсюду, со всего Амбера, со всей его поверхности, по всей его толще, внезапно брызнули голоса, крики, огоньки, и, замелькали руки.

Женщины голосили. Всюду зажигались лампы, которые кто-то выставлял наружу из окон. Звенели разбитые стекла. Нижние этажи домов, как автоматические распределители, выбрасывали на улицу людей. Они вываливались из дверей, сталкивались лбами. Иные замирали в столбняке, с раскрытым ртом и выпученными глазами, выпятив друг против друга живот. Другие бежали в при-прыжку, придерживая брюки.

Три обормота пошли гуськом. Сквозь перестрелку вспыхивали сигнальные рожки. Временами, казалось, переполох распластывался по земле, прикидываясь мертвым. Потом треск начинался снова, еще внушительнее и яростнее.

— Я начинаю беспокоиться, — сказал Бенен. — У меня впечатление, будто сигарным окурком мы подожгли лес Фонтенебло.

— Гм! Что-то думает теперь Брудье?

— Он-то? Я его знаю. Он потирает руки и поглаживает усы. С раздутыми ноздрями он вдыхает эту сумятицу и кричит от удовольствия.

Люди на всех улицах, переулках и перекрестках суетились, метались, кричали. Это нельзя было назвать толпой: это была бессмысленная толчея.

Амбер бродил и свертывался как простокваша; он распадался на волоконца, на беспорядочно кишевшие сгустки и пленки. Это было тошнотворно для слабого желудка.

В эту мешанину влипли три обормота. Они уже не разбирали дороги: лишь бы не потерять друг друга. Они пробирались вслепую, тянули друг друга: Бенен впереди, Лесюер сзади. Перекликались, хватали друг

друга за локти, цеплялись за пуговицы. Втроем они составляли как бы одного быстрого и увертливого зверя — ящерицу, дружественную кустарникам и зарослям травы.

Они хотели во всей полноте порадоваться событию, проследить его во всех направлениях, прочувствовать все его толчки.

Но вот они проникли в воспаленный квартал, где грохот уже превращался в боль.

Неожиданно они вышли к подступам на людную площадь. На фасаде здания светится циферблат: небо голубеет над черепичной вышкой. Полыхают звуки рожков. Стрельба, достигшая сплошного гула, расходится дробью, крошится, смолкает.

Снова сигнальные рожки. Крики команды. Ринулась масса. В глубине площади образовалась пустота, как под поршнем насоса. Толпа с двух смежных улиц втягивается сюда со свистом. Но две эти улицы, в свою очередь, вбирают в себя весь остальной город. Толпа стягивается, растекается ручьями, приливает, набухает. Амбер брызнул: он существует.

VI.

ГРЕХОПАДЕНИЕ АМБЕРА.

Священник только-что пробормотал расписание служб на неделю. Помолчав, он заговорил изменившимся голосом:

— Дорогие братья...

Несколько утомленные слушатели оживились.

— Дорогие братья! Сегодня я вынужден отказать себе в радости скромного пастырского собеседования — в нашей обычной благочестивой беседе. Сказать по правде, я испытываю по этому поводу чисто эгоистическое сожаление. Взвешивая вашу душевную

выгоду, с точки зрения спасения ваших душ, я не могу не приветствовать, что сегодня вам дано будет услышать более просвещенного и авторитетного оратора.

„Склоните слух свой, братья, к радостной неожиданности. Отец Латюиль,—блестящий оратор и ученый теолог, советчик князей церкви и наперсник великих мира сего, — отец Латюиль находится среди нас. Вчера еще мы не подозревали, что он вернулся из Рима. Вчера еще мы были убеждены, что он дышит воздухом вечного города, а между тем он уже попирает стогны нашей окружной столицы. Кто бы мог подумать, что он внезапно изменит свой маршрут, что он решится на крутое восхождение в нашу горную глушь, чтобы посеять в душах частицу сева истины, полной горстью зачерпнутого им в лоне самого Пия десятого? Можете сами вообразить, каково было наше изумление и смущение, когда сегодня утром он удостоил нас своим посещением и выразил желание выступить с пастырским словом во время воскресной литургии! Разумеется, чтоб оказаться достойными такого лестного внимания, чтобы использовать его полностью, нам следовало созвать общее собрание, распространить приглашения и афиши. Те из прихожан, которые, ничего не подозревая о радостном событии, предпочли явиться к утренней обедне, могут затаить против нас обиду за то, что мы без них отпразднуем это духовное пиршество. Но время отца Латюиля слишком драгоценно, чтоб домогаться у него отсрочки.

„В ваших глазах, дорогие братья, я читаю нетерпение. Я не буду его разжигать. Но прежде чем сойти с этой кафедры и уступить место нашему гостю, я попрошу вас об одном: настройте души на исключительно внимательный и благочестивый лад. Сейчас вы услышите чистейшую католическую догму, до вас дойдет голос самого наместника святого Петра. Вы приобщитесь к самым задушевным помыслам римского перво-

священника, к самым дорогим, я сказал бы, потаенным, его мыслям. И вы, я вижу, смущены не менее меня, этой высокой честью. Но вы покажете себя достойными ее, — в этом я уверен.

Священник юркнул в лестницу кафедры, и, исчез в ней, как в спирали холодильника. На мгновение аудитория была предоставлена себе самой.

Отца Латюиля ждали с пылким нетерпением. Посреди церкви образовалась как бы живая отдушина. Аудитория жаждала отца Латюиля; аудитория присосалась к кафедре как поросенок, который мнет, тербит и покусывает материнский сосок.

Отец Латюиль медленно просачивался в собор. Сначала почувствовали его приближение, потом увидели его самого. И увидели его с постепенностью: голову, лицо, грудь, плечи, пояс. У него была пышная растительность и густая борода. Сложен он был крепко, росту был скорей небольшого. Платье на нем было монашеское, но какого ордена — разобрать было невозможно. Доминиканец? Францисканец? Ораторианец?

Отец Латюиль положил левую руку на бархатную драпировку кафедры; перекрестился, пожевал губами. Подумали, что он молится.

На самом же деле он увещевал себя следующим образом:

„Эх, старина Бенен. Теперь не время мямлить. Ты, как пловец, стоишь на кончике трамплина: нужно броситься с головой, чтоб не испить позорной чаши“.

Он посмотрел перед собой.

— Если бы я видел, по крайней мере, колонны! Это придало бы мне храбрости!

Но он не различал ничего. Перед ним, в некотором расстоянии, сгущалась туманность. Вернее, он видел только оптом: одни глыбы предметов. Мелочи не окончательно ступевались; они лишь потеряли свою выразительность; Бенен их уже не схватывал.

Нечто простиралось в глубину храма. Это „нечто“ в глазах Бенена было спиной зверя, ровно разостланной кожей, усеянной прыщиками и пупырышками. Обращенные к нему лица казались ему как бы скопищем сосочков, налитых недоброжелательством.

Однако, это смятенное созерцанье продолжаться не могло. Нужны были слова.

И Бенен начал неуверенным, но постепенно крепнущим голосом:

— Дорогие братья! Господь Иисус Христос однажды сказал: „Пусть могущие вместить — да вместят“. Таинственные слова! Тревожные слова! После девятнадцати веков, в течение которых мудрость ученых пастырей истолковывала и проницала божественные заветы, слова эти остаются привычными нам лишь по начертанию, и мы не посеем утверждать, что проникли в их духовную суть.

„Изо всех духовных выгод, какие мне удалось извлечь во время пребывания моего в Риме, больше всего я ценю тесное и непрерывное общение с живой мыслью церкви. Только здесь я почувствовал, как грубо заблуждаются наши противники, когда упрекают католичество в косности и застылости, когда полагают, будто мы затвердели и как бы окаменели в установленных понятиях и обрядах.

„Не скрою: предубеждение это до известной степени обосновано примером известной части верующих, озабоченных скорее внешней ортодоксальностью, нежели внутренним постижением догмы. Но в особенности эта духовная робость, эта мелочная рутинность,—одинаково в вопросах благодати и действия,—укоренилась в некоторых провинциальных французских захолустьях, с одной стороны — трудностью сообщений и слабой интеллектуальной связью с внешним миром, как бы защищенных от духовной заразы, а с другой стороны,—оторванных от круговорота истины и ритма живой жизни.

При последних словах Бенен широко выпростал обе руки: он сделал передышку. Теперь он обрел полную уверенность: он уже не плавал в тумане сомнений. Он чувствовал, словно кругом поднимаются легкие и горючие испарения, смешиваясь с паром его дыхания и пропитывая клеточки его мозга.

Теперь он уже различал отдельные пояса и пласты аудитории. Он уже не считал ее однородной по составу и одинаково неподатливой.

Прямо перед ним располагалась размягченно-инертная группа слушателей, впитывая его слова мало-помалу и не особенно впечатляясь; но местоположение этой группы было весьма существенно, и она требовала усиленного внимания.

Еще ближе и, казалось, пониже, кафедру окружал исключительно неблагоприятный и строптивый пояс; мысли отскакивали от него с сухим треском. Сбоку, с левой стороны, по направлению к порталу, сгрудилась довольно робкая масса, достаточно кроткая и способная взойти опарой; в настоящую минуту ей полагалось испытывать чувство зависимости и подчиненности.

Справа, по направлению к хорам, находилась не особенно многочисленная, но хорошо спаянная часть слушателей: здесь каждое слово отдавалось приятным и гулким звуком.

Бенен продолжал:

— Итак, дорогие братья, в современную нам эпоху, главным образом—после смут злосчастной реформации, христианская мысль и воля нашей страны поддались как бы гипнозу в известных вопросах морали, я сказал бы даже, в вопросах моральной щепетильности, заслуживающих, правда, внимания, но недостойных, пожалуй, приковывать к себе, поглощать и связывать все наши силы. Эти вопросы, столь особого порядка, стали как бы стержнем всей религиозной жизни. Ради них пренебрегали более существенными заботами и оста-

вляли под паром более протяженные участки духовной пахоты.

„Действуя таким образом, христиане, о которых я говорю, ни минуты не сомневались, что творят в точности заповеди Христа. Даже в тех случаях, когда они сознательно противоречили глубоким влечениям природы, они утешали себя тем, что творят точную волю создателя.

„Выразимся яснее. Несомненно, в отличие от большинства других религий — язычества, магометанства и учения браманов, — современный католицизм сделал из похоти или из того, что он называет; этим именем, род тягчайшего греха, а добродетель целомудрия объявил самой серафической, драгоценной, чье благоуханье всего угоднее богу. Не будучи включена в число канонических добродетелей, она ценится, однако, весьма высоко и, по опыту исповедника, я позволю себе сказать, что многие девственницы зрелого возраста слишком легко прощают себе самим недостаток милосердия по отношению к своей незапятнанной плоти.

Бенен снова оглядел аудиторию, она представилась ему в еще больших подробностях.

Напротив была „исповедальная скамья“ и в два ряда сидели мужчины лет сорока, пятидесяти, шестидесяти, зажиточные, пузатые, с толстыми ляжками, с круглыми лицами и круглыми глазами, с слоновьими пальцами и толстыми губами, — дюжина пожилых, откормленных самцов, словно жури, только что вставшее от табль-д'ота, чтоб посоветаться при закрытых дверях.

Ближе, выпирая из корабля в боковые приделы, кафедру обступил пласт старых дев, почерневших, жестких, несуразных, как каменноугольный лом; воистину, что-то в роде телеги с отбросами или свалки, куда опоражниваются ящики с окурками около вокзалов.

Справа, доходя до самых хоров, расположились чистенькими рядками прилично одетые семейства

в не слишком тесном соседстве: они принимали за чистую монету каждое слово отца Латюиля.

Слева была мешанина и мелюзга; много женщин без провожатых, маменьки с дочками, отставные военные, перебиравшие четки узловатыми подагрическими пальцами, несколько молодых людей, бледных и целомудренных, вымороженных в благотворительных попечительствах; позади, наконец, кучка убогих, опекаемых священником.

Но вот что изумительно: почти совсем напротив, в двух шагах от скамьи причастников, опершись о пилястр, стояли: Гюшон в огромных внушительных очках с глазами блестящими и неподвижными, как два драгоценных камня; Омер, чье лицо покрывалось налетом тоскливой бледности, в то время, как нос его наводил на какие-то неуловимо-непристойные мысли, и Брудье, слушавший с выражением ханжеского внимания.

Приободрившись, Бенен продолжал:

— И подумать, братья мои, как далеко зашли иные на этом пути. Они не довольствовались тем, что подавляли самые бесхитростные и наивные порывы, в которых проявляется взаимное притяжение полов. Сам брак был взят под подозренье. Это таинство, это божественное установление рассматривалось как сделка с совестью; обязанности, сопряженные с браком, объявлялись отдушиной для человеческой похоти. Чересчур усердные духовные наставники добились от слишком пылких в своем раскаянии овец злостного и повседневного упорства по отношению к мужьям: несчастные женщины думали освятить свое ложе, изгоняя с него обряд, к которому оно предназначено самим создателем.

„Но запомним, дорогие братья, что фанатики целомудрия, влагая собственные мнения в уста господу, прибегают к странной передержке. Им не на что упереться ни в старом, ни в новом завете. Эти враги жизни любви и чадородья противятся богу патриархов, богу

который явно благоприятствовал супружеской мощи и отцовской производительности, богу, который внушил псалмопевцу Песнь Песней, самый пылкий, самый чувственный гимн, когда-либо прозвучавший в восточной ночи, ибо как устыдилось бы их гугенотское пуританство, если бы я решился возгласить эту песнь с высоты кафедры! Они отвращаются от Христа, который любовь, во всех ее видах, возвел в основную добродетель, от Христа, бывшего снисходительным другом грешницы Магдалины, от Христа — покровителя неверной жены, от Христа, который все свое ученье выразил в двух предписаниях: „любите друг друга“ и „плодитесь и размножайтесь“.

Бенен перевел дыханье. Откормленные мужчины, на скамье исповедников, сочувственно улыбались. Семейные слушатели, справа, удивлялись, но старались не проронить ни слова из торжественной проповеди. Отставные военные, слева, испытывали какое-то странное щекотанье в опухших суставах, какой-то смутный жар в подагрических пальцах. Юноши, замороженные в благотворительных обществах, быстро оттаивали, смущенно косились на девиц, охраняемых провожатыми, и еще более смущенно на некоторых дам, сопровождавших девиц. Но старые девы болезненно корчились; они вертелись, переглядывались, нагибались одна к другой, шептали друг другу на ухо, вздыхали, покашливали, то глотали слюну, то принимались шептать „Аве Мария“, отгоняя соблазн молитвой.

Глаза Гюшона, между тем, разгорались все тревожнее; они сверкали все ярче, как настоящие бриллианты.

К носу Омера настоятельно требовался передник или, по крайней мере, виноградный лист.

Брудье живьем напоминал сатира из Булонского леса.

— Ах, дорогие братья! Я, как сейчас, слышу его святейшество Пия десятого я слышу, как этот жизнерадост-

ный венецианец в одной из домашних бесед, к которым он меня неоднократно и милостиво допускал, яростно ополчается на маниакальных ревнителей воздержания: „Per bacco! — восклицал он. — Son fuor di ine dalla stizza quando edo costoro castrati...“ „Я выхожу из себя, — восклицал он, — когда вижу, до чего их доводит бессмысленное рвение! Они восстаноят против нас всех тех, кому даровано небом здоровое тело и щедрая кровь, всех тех, кто достойны называться мужчинами. Ряды воинствующей церкви вербуются теперь из старух, недоносков, хворых и порченных. Нечего сказать, хороша армия! Не велика мне честь быть ее вождем!“

„Да, братья мои, пришло время покончить с этой ересью: пришло время раздавить это лжеученье, в котором, на мой взгляд, оживает беснование Кальвина и просачивается дьявольский дух. Ибо — *fecit cui prodest*¹⁾. Кому, как не дьяволу, подобает перечить начертаньям божьим и порочить создание творца. Бог создал мужчину и женщину, он снабдил их органами, необходимыми для осуществления судеб, предначертанных им человечеству. Он вдохнул в людей инстинктивное желанье пользоваться этими органами, естественное предрасположение извлекать из них все возможности, острые наслаждения, сопряженные с их действием, наслаждения, которые не только не притупляются, но, наоборот, усиливаются от повторного действия; таким образом, создатель соразмерил средства с важностью задачи и ничем не пренебрег для достижения успеха.

„Подчинимся же ему, братья мои. Наша леность вступить на пути господни будет тем более непростительна, что нравственный долг и удовольствие, в данном случае, тождественны.

¹⁾ Сделал тот, кому это выгодно.

„Прежде всего, восстановим союз обоих полов во всем его достоинстве и действенности. Внушим себе, что всякая небрежность, всякое попустительство в исполнении супружеских обязанностей является таким же грехом, как пропуск церковных служб или уклонение от церковного покаянья. Слишком сдержанный супруг и уклончивая супруга не в праве рассчитывать на расположение божье. Зато четы, до глубины сознающие свое предназначенье, считающие, что многократно скрепив свои узы, они все-таки скрепили их недостаточно, — те, кто, не довольствуясь простым расточеньем сил, не боятся преступить меру, и частотой, продолжительностью и пылкостью сношений свидетельствуют о том, что приносят бrenную плоть в жертву божественному промыслу; те, кто в святой изобретательности, подобно аскетам, разнообразящим обстоятельства, положения и приемы молитвы, подстрекают свое усердие, ежедневно пробуя какой-нибудь новый, до сих пор еще не проверенный ими способ, — вот этих я назову друзьями воли божьей и детьми создателя.

„Пусть не говорят мне замужние женщины: „Что до меня, отец мой, я проявляю полную готовность, но муж мой — увы — совершенно безучастен: он совершенно отстал от своих обязанностей“. Я им отвечаю так, как я отвечаю женщинам, которые жалуются мне на религиозное равнодушие своих мужей: „А кто виноват? Разве не в вашей власти исцелить больного?“ Я скажу им: „А свои обязанности вы исполнили?“ Хотелось бы думать, что огорчающая вас дряблость супруга вызвана отнюдь не расслабляющим режимом, не скудостью питанья или пресным выбором блюд. Но вы сами, пустили ли вы в ход все зависящие от вас средства? Положа руку на сердце: использовали ли вы все до единого поводы, чтоб пробудить в воображении супруга представление и живой образ его обязанностей? Достаточно ли явными показались ему ваша добрая воля

и похвальные намерения? Иногда взгляд, неуловимая игра лица, удачный выбор позы оказывают самое победоносное действие. Известное попустительство в смысле покроя одежды, не так ревниво прикрывающей преимущества вашего сложения, может поразить и разогреть воображенье. А когда ночь смыкается над тесной близостью супружеского ложа, когда прелести ваши защищены лишь легким покрывалом, когда они обречены всем случайностям соприкосновенья, отданы в жертву смелым касаньям, — разве тогда случайные, почти мимовольные движенья, почти бессознательные жесты не могут заронить искру плодотворящего сближенья? Неужели вы покраснеете, взяв на себя почин, — к которому, правда, вы не предназначены природой, — и почувствовав, что грешно с вашей стороны оставлять его слишком долго под спудом?

И пусть не говорят мне мужья: „Отец мой, страсть меня пожирает, но жена моя отталкивает меня непреодолимой холодностью, — если только это не плохо скрытое отвращенье“. Им я отвечаю еще резче: „Господь, — воскликну я, — поручил вам пахотное поле. Оно не сделалось лучше от того, что стояло под паром. Поверхностная и небрежная обработка, не осложненная вспомогательными удобрениями, не могла произвести лучшей жатвы. На что же вы жалуетесь? Вы упрекнете почву в бесплодьи. Пусть так; но бог хотел лишь удвоить вашу заслугу. Вы не оправдали его доверья. Не говорите мне о непобедимой холодности. Видели ли вы когда-нибудь, как ребенок играет со снежным комом? Он хватает его, лепит, мнет, уминает, запускает в него пальцы, подносит его к губам, разогревает своим дыханьем... Понемногу снег оттаивает и покрывается капельками. Неужели вы менее умелы? Неужели вы менее терпеливы?“

Отец Латюиль взглянул на слушателей.

Брудье, Гюшон и Омер незаметно подкрались сзади

к трем сидящим женщинам и словно изготовились накрыть их прыжком.

Лица старых самцов на скамье исповедников аполплектически напряжились; они побагровели; после обильного выпота они уже перестали потеть; мужчины закатывали глаза, вращали белками; они высматривали нежданную добычу.

Семейства справа снова почувствовали себя парочками; взгляды увлажнились, дыханье стало короче, начались нажимы на бедра и колени.

Девицы слева трепетали в предчувствии чего-то неизведанного. Юноши с пересохшим горлом потирали руки. Что до матерей — одни были охвачены ужасом, другие были насквозь пронизаны пылающими клинками воспоминаний.

Отставные военные взглядом прощупывали бедра соседок и удручались тем, что не знакомы на опыте с их упругостью.

Но скопище старых дев напоминало продолговатую костлявую кошку, заодно и взъерошенную и облезлую, поджарую и выцветшую, кошку консьержа, которая корчится в судорогах, проглотив веревку от звонка.

— А теперь я перейду к девушкам, которые созрели в целомудрии. Я скажу им: „Бросьте кичиться сумрачной девственностью! Не надейтесь на благоволенье творца, чье создание вы открыто порочите. Лучше всего, для вас — немедленно исправиться!“ Разумеется, для многих из вас уже поздно. Где найти щедрого мужа, который бросит в заросли черствых кустарников кошницу семян, предназначенных уйти в жирную рыхлую почву? Зато для других каждая минута драгоценна. Пусть каждая из них в течение года сделает хотя бы одну попытку выпрямиться до истинно-христианской высоты.

„Затем я обращаюсь к молодым людям, к мальчикам и девочкам. Я умоляю их не откладывать в долгий

ящик тщательного знакомства со своим земным предназначением. Им следует позаботиться не только о собственном спасении, но также исправить многочисленные ошибки предшественников. Девушки, бойтесь унижительной девственности, бойтесь исковерканной жизни! Благоприятствуйте путям господним! Все вы, хотелось бы мне думать, на глубине душевной лелеете святые экстазы ложа. Никому не позволяйте быть помехой в вашем призвании. Если окружающие вас слепые умы будут противиться союзу, который вы найдете разумным, устройте так, чтобы красноречие самих событий присоединилось к голосу ваших просьб. Господь не будет на вас в обиде за то, что вы заранее учли его благословенье.

„Вы, молодые люди, помните, что господь вручил вам почин, о котором я говорил раньше... Как Моисей, вы держите чудотворный жезл, выбивающий воду из скалы. Докажите, что вы умеете ценить дарованное вам преимущество. Ах, молодые люди, я хотел бы, чтоб ярость вашего пыла была неудержима. Я хотел бы, чтоб вы пренебрегли суетным притворством и самого господя, в доме его, призвали в свидетели вашего нетерпенья. Ах, братья мои, ужели мы не дерзнем воскресить трогательные увлечения первых христиан? Найдём ли мы в себе жар первохристианской общинной вечера, когда вдали от холодной извращенности века, все члены общины, мужчины и женщины, мальчики и девочки, одержимые беспредельной любовью, восхищенные духом, кидались в объятия друг к другу и, сливаясь устами...

Внезапно, Гюшон, Брудье и Омер нагибаются вперед, хватают за плечи трех сидящих женщин, приподымают их, прижимают к груди и целуют.

Старый самец перемахивает через решетку скамьи исповедников и спешит облапить первую попавшуюся перзрелую деву.

Подросток впивается губами в шею какой-то девочки. Отставной военный опускает свои узловатые руки на чей-то круп. Жены наклоняются к мужьям, мужья обнимают их за талию, жискают им грудь.

Матери кричат; старые девы вопят и опрометью бегут, опрокидывая стулья.

Все мужчины срываются со скамьи исповедников. Трое оборотов шарят под юбками у трех женщин. Два десятка юношей кидаются приступом на барышень с провожатыми. Отставные военные мнут чьи-то бедра.

Аудитория сбивается в судорожные комья.

А Бенен застывает с протянутой рукой, считая ненужным договаривать фразу.

VII.

РАЗРУШЕНИЕ ИССУАРА.

В тот же день, между тремя и четырьмя часами пополудни, город Иссуар претерпел глубокие изменения.

Он сжался и выиграл в плотности за счет потерянного объема.

Прежде всего, опустели окраинные дома; подобно овце, выбрасывающей черные шарики помета, двери домов выпускали одного за другим мужчин, одетых в черное,—до полного истощения запаса. Понемногу в это странное занятие вовлекались дома центральных кварталов. К четырем часам все опорожнилось.

Выйдя на улицу, люди шли. Было одно лишь направление и одна скорость.

От перекрестка к перекрестку,—маршруты сливались. Таким образом, получались улицы с постепенно густевшей толпой и с более замедленным движением.

Между тем, площадь святой Урсулы, в центре города, раздувалась как мех волынки.

К четырем часам весь Иссаур стал площадью святой Урсулы.

* * *

На площади открывали конную статую Верцингеторикса.

Дело тянулось долго. Первая национальная подписка, организованная семь лет тому назад, дала всего-навсего семьдесят шесть франков двадцать сантимов. Располагая этой суммой, организационный комитет утрамбовал на площади святой Урсулы скромную площадку.

Вид этой площадки так подействовал на умы, что через год была объявлена областная подписка. Областной энтузиазм одним духом дал восемьсот тридцать два франка. На эти новые деньги комитет соорудил на площадке гранитный пьедестал.

Вид пьедестала произвел благоприятнейшее впечатление на богатого подрядчика-сломщика — местного уроженца, — проводившего в Иссауре летние вакации. Он пожертвовал городу бронзового коня из-под обломков разрушенного „дворца промышленности“.

Бронзовая лошадь была доставлена в Иссаур за счет жертвователя. Не хватало только Верцингеторикса. В ожидании лошадь поместили в мэрии, в зале брачных актов.

И вот, в самом начале августа, молодой парижский скульптор, называвший себя „ревностным почитателем арвернского героя“, прислал муниципальному совету письмо, предлагая доделать памятник — припать к коню достойного всадника. Он отказывался от гонорара, довольствуясь одной честью. Это была находка! Местные газеты захлебывались от восторга. Спешно образовался „почетный комитет“ и „комитет содействия“. В следующем письме молодой скульптор сообщал, что произведение его, созревавшее в течение многих месяцев,

может быть закончено в несколько дней лихорадочной работы.

Его пригласили приехать в Иссуар, чтоб „осмотреться на месте“. Он ответил, что это бесполезно. Путешествуя „инкогнито“, он внимательно обследовал пьедестал и бронзового коня, располагает точными записями и измерениями, так что все пройдет превосходно. Он просит лишь об одном,—чтобы лошадь к его приезду заранее установили на пьедестале. Накануне, или в самое утро открытия, усилиями самого художника, Верцингеторикс будет доставлен на площадь святой Урсулы и водружен на пьедестал. Вплоть до начала речей памятник будет завешен брезентом. Мэр предложил скульптору, на время пребывания его в Иссуаре, свое гостеприимство. Тот отклонил приглашение с изысканной вежливостью.

Он предпочитает остановиться у одного из друзей, в доме которого рассчитывает найти необходимые удобства для технических процедур последней стадии работы.

И в самом деле, все шло хорошо. Лошадь не без труда утвердили на пьедестале. Постамент был слишком мал, но прочен. Чтобы развеять общественное любопытство, коня накрыли брезентом.

Молодой парижский скульптор приехал в Иссуар так незаметно, что никто его не видел. Кроме того, никто не заметил, чтобы с товарной станции выгрузили ящик или тюк, подходящий по размерам к Верцингеториксу. Тем большее уважение почувствовали к художнику, который работал в тиши, избегая трескучего шума.

В воскресенье, в день открытия, к двенадцати часам, когда улицы опустели, подвода с грузом остановилась на площади святой Урсулы, перед площадкой. Трое подручных в белых блузах ловко взгромоздили Верцингеторикса на коня, не вынимая статую из приспособления, в котором она была привезена: что-то в роде

деревянной рамы, со всех сторон обтянутой холстом. Верцингеторикс был скрыт от зрителей, и холст к нему не прикасался.

— Вы понимаете, — сказал один из подручных собравшимся зевакам, — позолота еще не совсем просохла, и трение о холст могло бы ее испортить.

* * *

К четырем часам площадь Святой Урсулы поглотила все содержимое Иссуара и подчинила его новому распорядку.

Центром Иссуара, пупом земли, седалищем божества — была статуя.

Ее еще не видели, но воображали. Тысячи умов отбрасывали в одну и ту же точку образ всадника Верцингеторикса, десять тысяч призраков сталкивались, проницали друг друга и сливались в тождество.

Против завешенной статуи, в гуще военного оркестра, угнездилась маленькая трибуна, обтянутая трехцветной тканью.

Вокруг статуи, концентрическими рядами, с военным оркестром в качестве узлового средоточья, расселись почетные граждане, разодетые как на похороны, утопая в стульях мясистыми задами.

Вокруг черного диска почетных граждан шел тоненький и прозрачный пояс: школьники на скамейках. Их окружало кольцо стоячих зрителей, второразрядных приглашенных, напоминавших ровно насыпанную грядку.

Вокруг стоячих зрителей — ружья к ногам — цепью стояли пехотинцы.

За пехотинцами колыхалась бесформенная толпа.

В укромнейших недрах бесформенной толпы затерялись Бенен, Брудье, Гюшон и Омер — как камни в почках.

Омер шептал:

— Это сорвется. Он не выдержит и одной минуты!

Брудье отвечал:

— Неизвестно, дорогой. Он практиковался в ярмарочных балаганах, в дни своего бродяжничества.

Гюшон протирал очки.

* * *

Программа торжества была составлена следующим образом:

Марсельеза — в исполнении военного оркестра.

Испанское солнце — хор, в исполнении школьников.

Тик-ток-тен-тен-тен — ритмическое шествие с пением, исполнит оркестр.

Родные рощи — исполнит хор школьников.

Потом — речи.

Ораторские выступления открывал господин Крамулья, депутат Иссуара, член муниципального совета, председатель комитета по сооружению памятника. Было даже условлено, что в конце его первого ораторского периода, при словах: „Я вижу тебя, Верцингеторикс“, — статуя откроется взорам присутствующих.

Сзади к статуе приспособили нечто в роде лебедки. Стоило только подручному потянуть за веревку, и легкое обрамление, скрывавшее Верцингеторикса, разом приподымалось и опускалось на землю. Почетные зрители наперебой восхищались этим приспособлением, которое напоминало им изумительнейшие трюки клермонского театра.

Когда отзвучал последний припев „Родных рощ“ и умолкли рукоплесканья толпы, взял слово Крамулья.

Он начал с приветствий властям и почетным приглашенным. Потом он набросал историю медленного зарождения памятника. Он изобразил его, прорезающимся из почвы площади святой Урсулы, год за год растущим с терпеньем и мощью овернского дуба. Попутно, он воздал должное всем оказавшим этому содействие, всем

ревнителям и щедрым даятелям, которые вынесли на своих плечах почти десятилетний труд. Только тогда он воскликнул:

— Я вижу тебя, Верцингеторикс!

Лебедка взвизгнула; рама приподнялась; Верцингеторикс открылся взорам.

Толпа разразилась могучими рукоплесканиями. Верцингеторикс был ослепителен; он сверкал, как новая кастрюля; вначале видели только блеск.

Скульптор выбрал для Верцингеторикса простую, но прекрасную позу: левая рука покоилась на ляжке, правая — держала поводья коня.

Верцингеторикс был гол. Все его снаряжение ограничивалось щитом, висевшим на спине, каким-то мешком — туго набитой торбой на левом бедре — и ботфортами.

Лицо у Верцингеторикса было воинственное, но до странности заросшее волосами. Борода доходила ему до самых глаз, захлестывала щеки и сливалась с густой, как пакля, шевелюрой.

Тело его было не менее космато, чем лицо; шерсть мшилась по грудной впадине, покрывала живот и курчавилась ниже. Волосяные покровы, к тому же, были безупречно правдоподобны.

Его фаллус, свободно покоившийся на хребте коня, поражал одновременно размерами и естественностью. Дамы и многие девушки искренне им восхищались.

Короче, впечатление было великолепное. Говорили:

— Как удачно! Какая живость! Какая жизненность! Как здорово изловчился художник! Так и ждешь, что он заговорит!

А господин Крамуля продолжал:

— Я вижу тебя, Верцингеторикс! Отныне своей благородной осанкой ты будешь возглавлять наш форум. Благосклонными очами ты будешь взирать на наши труды и боренья. С высоты коня ты поведешь нас

на честный бой. Ах, мне сдается, я слышу твой поощряющий голос, слышу советы, которые ты нам преподаешь. Мне сдается, я слышу суровый голос мужа. Ты говоришь: „Сыны Оверни! Дети мои! Я боролся, страдал и умер за свободу, за права народа. Но потом моим, кровью моей я скрепил фундамент демократии. Я...“

И вдруг произошло нечто ужасающее, нечто сверхъестественное, нечто до такой степени невозможное, что каждый усомнился в своем рассудке и побледнел.

Статуя раскрыла рот, статуя закричала:

— Врешь!

Она помолчала и снова заорала:

— Никогда я не говорил такого вздору. И прежде всего запрещаю тебе меня тыкать. Нечего разводить передо мною галиматью! Старая кочерга! Кочан капусты! Импотент! Ты заставишь меня изрыгнуть сегодняшнюю пищу. Убирайся к чертям! Сказано тебе, убирайся к чертям! Да поскорей!

При этих словах Верцингеторикс запустил руку в свою торбу, вытащил оттуда какой-то предмет и яростно метнул его в круглую физиономию Крамульи.

— А вы, прочие! Чего на меня уставились? Потому что я не в скюртуке и не в крахмальной манишке? Эх, вы, стадо пыжей! Погодите, я помогу вам отклеить зады от стульев.

Он вытащил из сумы несколько печеных яблок и обеими руками принялся обстреливать знатных особ.

Всеобщее оцепененье перешло в ужас, ужас в панику. Все думали об одном: как бы спасти свою брэнную шкуру в вихре сверхъестественных событий.

Крамулья скатился с трибуны; почетные приглашенные поудирали, опрокидывая стулья; школьники с пронзительными криками метнулись к гряде стоявших зрителей, которые в мгновение ока сбились в кучу.

Цепь пехотинцев была прорвана и распалась. Военный оркестр улелетывал во все лопатки.

Площадь святой Урсулы взорвалась во всех направлениях, далеко отбрасывая растерзанные куски толпы. Иссуар был искрошен, уничтожен — взрывом изнутри.

В мешке Верцингеторикса оставалось еще одно яблоко, но кругом, на расстоянии прицела, не было ни одного живого существа.

И он сам съел это яблоко.

VIII.

ОБОРМОТЫ.

— Бенён!

— Чего тебе?

— Проходи же вперед! Вот странно! Мы совсем не знаем дороги, а идем впереди.

— Очень просто: вам нужно держаться тропинки.

— Прости, пожалуйста! Здесь она, как будто, раздваивается. Я очень хочу, чтобы мы заблудились, но не хочу за это отвечать.

— Дело в том, что у меня с Брудье начался изумительный разговор и его невозможно прервать.

— Кто же мешает Брудье пройти с тобою вперед? Ну, марш! Алле!

Вся цепь остановилась. Передние раздвигали кустарники, расчищая дорогу. Лесюер положил свой мешок наземь.

— На вид, как будто, ничего, а как тяжело!

— Идиотично с твоей стороны хныкать.

— Замечательно! Я тащу на себе все тарелки.

— Все тарелки! Можно подумать, что это сервис из двенадцати дюжин. На меня навьючены три бутылки Сент-Эмилиона, сало, соль, перец, горчица и коньяк.

— У меня два Барзака, семь стаканов, ножи и вилки.

— У меня три Сен-Перай и пробочники, сардинки... и меню!

— У меня три Касс-Патт, не считая сосисок и колбас, сыра и зубочисток.

— У меня хлеб и мясо.

Мартен, который нес все остальное, промолчал.

Цепь снова двинулась в путь.

То была очень узкая тропинка, затерявшаяся в лесу, как пробор в волосах Бенена. Заросшая высокой и жесткой травой, она наполовину заглохла под папоротниками и бурьяном. Пешеходы ежеминутно спотыкались о корешки, низкие пни и каменистые складки почвы. Иногда все под ногами мякло и чавкало. Шаги увязали в какой-то губчатой массе. Спустя мгновение в башмаках булькала вода, и нависшая ветка срезала шляпу.

С двух сторон была непролазная чаща, и вплотную навалился мрак. Гигантские девственные сосны от корней до верхушки топорщились лапчатыми ветвями, надвигались друг на друга, переплетались.

Чтобы продвинуться, нужно было проламывать эти заросли грудью. Хотя солнце еще не заходило, в лесу было черным-черно. И хоть угадывались смутные шорохи, — вкрадчивый шаг зверя, чирикание птицы, — они все же глохли в хвойной толще; слышалось, то справа, то слева лишь прозрачное бульканье воды.

Обормоты, кто с мешком за плечами, кто с торбой на перевязи, шли гуськом. Тысяча радостей щекотала им грудь: над ними просвечивало голубой чресполосицей небо, они глубоко врезались в непроломный лесной мрак, и знали, куда они идут.

Им было весело оттого, что они, семеро добрых обормотов, идут гуськом, что им оттягивают плечи и болтаются под рукой мешки с бутылками и снедью, что они спотыкаются о твердые корешки и, громко чертыхаясь, увязают порой в трясине.

Их радовало, что они, семеро добрых оборотов затерялись совсем одни, в предсумеречный час, в этой безмерной безлюдной глуши, где на тысячу метров кругом окрестность не сулила и случайной встречи.

Их радовало, что они действовали сообща, что они находятся теперь вместе, в определенной точке пространства, и что это единение будет памятно всем.

— Эй, Бенен!

— Чего тебе?

— Скажи правду: лесной дом не твоя фантазия?

— Фантазия? У меня в кармане ключ!

— Хорошо. Но что это собственно: просто хижина лесничего или хвойный шалаш?

— Нет, дорогой, это настоящий дом, и даже образцовый в своем роде... Я его знаю... Я видел его, правда, только снаружи: одноэтажный, но просторный... три-четыре окна... внутри как будто очень прилично... большой очаг... сложены впрок дрова... есть стол, скамейки, стулья и целая батарея кастрюль. Чего вам больше нужно? Есть даже кровать для тех, кто начнет клевать носом.

Вопрошающий удовлетворился объяснением, и все утешились мысленным созерцанием лесного дома.

Несколько минут прошло в молчании.

Небо совсем опрозрачнилось и ушло еще выше. Завалы мрака справа и слева светились. Ущемленная ими тропинка понемногу таяла.

— Бенен!

— Что такое?

— Ты хорошо знаешь дорогу?

— Ну да.

— Дело в том, что мы идем все время в гору. Ты не намерен, надеюсь, устроить нам горный ночлег?

— Я уже говорил тебе, что дом стоит на самом склоне Тестуара, на высоте двухсот пятидесяти-трех-

сот метров. Скользя под гору на собственном заду, никогда туда не доберешься.

И в самом деле подъем становился крутым. Шли уже ошупью и спотыкались на каждом шагу. К тому же, все явственнее кругом ощущалась вода. Незримые струйки звенели и просачивались отовсюду.

— Я промочил носки.

— Высушишь на огне.

— Не ругай эту воду. Попробуешь—запоешь иначе. Это тебе не водопроводная моча. От Мейгальского массива у нее изумительный привкус.

— Когда вода у меня в башмаках, плевать мне на ее вкус.

Подъем затруднился настолько, что цепь обормотов едва не распалась. Каждый отдувался за себя, за свой страх отбиваясь от ползучих корней, пней и колдобин. Изощрялись, как бы не разбить бутылок. К личной безопасности относились, как к чему-то второстепенному.

Бенен остановился:

— Держитесь вместе... Как бы не заблудились отставшие: это будет ужасно! Все налицо?

Подошли и ползуны.

— Четвертый... пятый... шестой... А Мартен? Где же Мартен?

— Да, в самом деле...

— Омер, ты шел предпоследним... Что ты сделал с Мартемом?

— Еще три минуты назад он шел за мной... честное слово... Мне казалось — за мной идет Мартен.

— Ах, выродок! Может, он свалился в яму или заблудился?.. Ведь недавно был поворот...

Все принялись кричать:

— Мартен!.. Мартен!..

Сердце у них билось учащенно, в горле пересохло. Внезапно они почувствовали острую тревогу.

— Мартен! Эй, Мартен!

— Погодите... Я вернусь назад... А вы продолжайте кричать.

Ринувшись вниз по тропинке, Омер исчез в чаще. Время от времени обормоты испускали дружный клич. Лесюер положил свой мешок на мшистый камень.

— Вот они!

То был Мартен. Омер шел за ним по пятам, как овчарка, водворяющая в стадо отбившегося барашка.

— Рассказывай, старик! Что с тобой случилось?

— Что?... Ничего особенного.

Его хлопали по плечу; он улыбался, но губы его явно дрожали, а зрачки миндалевидных глаз были расширены. Наконец, он заговорил голосом перепуганного ребенка:

— Вы шли быстрее меня... я отстал... я сбился на повороте... там была, как будто, просека... я думал, что это дорога...

— Да, я нашел его в непроходимой чаще; он оцепенел. Совсем растерялся, бедняга!

— Может быть, он устал? Пусть кто-нибудь возьмет его мешок.

— Спасибо! не нужно, не нужно!

— Ты нам надоел. Теперь ты пойдешь в авангарде между Бененом и Брудье. Твой бывший министр будет присматривать за тобой.

* * *

Стол вынесли из дому и поставили его под открытым небом, посреди лесной дороги.

— Так будет посвободней, и к очагу легче будет подступиться.

Гюшон взял на себя обязанности повара. В этой области у него были кое-какие познания, но ему нужны были помощники для черной работы.

Омер и Ламенден отправились за хворостом, — разжечь дрова. Бенен и Лесюер таскали воду из дожде-

вой колдобины, шагах в двадцати, на брусничной лужайке. Туда же они положили — остудить — бутылки игристого Сен-Перай. Брудье, в безукоризненном порядке, расставлял тарелки, стаканы, раскладывал ножи и вилки, а Мартен, на корточках перед очагом, чистил картошку.

— Постой! Как чудовищно ты чистишь. Это саботаж! У нас всего пятнадцать картофелин!

Гюшон все время кряхтел.

— Немыслимо управиться. Ничего нет под рукой. „Телятина а-ля-Верцингеторикс“, как я ее задумал в позапрошлую бессонную ночь, требует тысячи приправ, а нет ничего!

— Подай коньяк! Ах, если бы вы были настоящими джентльменами, вы бы потрудились засветло поискать для меня немного шпинату...

— Вот еще чего захотел!

—...чутьочку тимьяну, пучок богородичной травки, листочек мяты и пустячок укропу. Да, Брудье, ты не дооцениваешь этих мелочей. Тем хуже. Моя „телятина а-ля-Верцингеторикс“ будет лишь грубым дилетантским опытом.

Лишь только Гюшон счел возможным оторваться от своих кастрюль, приступили к пиршеству. Обормоты произвольно расселись в обычном своем застольном порядке: Гюшон, Бенен, Лесюер и Ламенден — в середине стола, Брудье, Омер и Мартен — по краям.

Уже прохладный ночной ветер вырывался из лесных недр и овеивал дорогу. Подчас шорохи ветвей складывались в сплошное бормотанье — широковещательный шум. Потом ветер спадал, ветви замлевали, и даже очаг в доме как будто глохнул. Тогда усиливалось мерцанье звезд, и слышно было, как верещит кузнечик и цокает соловей.

Для начала обормоты отведали колбасы, приправленной сардинками. Два литра Касс-Патт погибли в этой первой гастрономической атаке.

Третий литр ухнул, пока Гюшон ходил за сосисками. Сосиски были связаны парочками, подобно аристократам, которых топили когда-то в Луаре. Им дали понять, что пощады не будет.

Но тут завязался довольно горячий спор: Гюшон утверждал, что Сент-Эмилион вяжется с сосисками лучше, чем Барзак.

— Сказать по правде, известная дисгармония неизбежна. По-настоящему, сюда подходят лишь некоторые бургундские или же хорошее мюнхенское пиво. Сент-Эмилион годится лишь на худой конец. Но Барзак будет настоящей ошибкой. Сосиска, не будем себя обманывать, отличается одновременно нежным и тяжеловатым вкусом. Не стану вас оскорблять доказательствами, что к ней необходимо красное вино. К тому же, я твердо рассчитываю на Барзак для „телятины а-ля-Верцингеторик“.

— Это другое дело! Но насчет сосисек ты попал пальцем в небо. Вкус сосиски нужно подстрекать, я сказал бы даже подхлестывать, иначе он становится апатичным, вянет. В сосиске есть что-то коровье. От Сент-Эмилиона она окончательно балдеет.

Вопрос разрешили, раскупорив по бутылке того и другого вина.

„Телятина а-ля-Верцингеторик“ пользовалась всеобщим вниманием более пятнадцати минут. Гюшону наговорили кучу лестных вещей; однако, он был слегка уязвлен. Он ожидал более изощренных и технически компетентных оценок.

А похвалы свелись к восклицаньям такого рода:

— Здорово, в самом деле!

Или:

— Превосходно! Поздравляю тебя!

Не говоря уже о плоской шутке:

— Если бы Верцингеторик был отлит из бронзы, этот теленок остался бы все-таки золотым тельцом.

Вскоре появились первые признаки опьянения. Роспили, однако, всего восемь бутылок, — по одной на брата.

Но три литра Касс-Патт, не взирая на двенадцатиградусную только крепость этого вина, массивной тяжестью обрушились на отощавшие желудки собутыльников. Затем эти литры вступили в предательский тройственный союз с тремя литрами Сент-Эмилиона и двумя — Барзака.

Речи, сообразно характеру собеседников, стали более вязкими или более окрыленными. Душевные плоскости развертывались. Каждая душа разворачивалась, как павлиний хвост. Как осажденный город, который отваживается на вылазку, каждая выбрасывала наружу и напрягала все свои силы.

Установились новые точки взаимного понимания и проникновения, и слова, как буйки, намечающие фарватер, служили лишь подспорьем к более глубокому и непосредственному общению. Горючий пороховой привод шел от головы к голове — круговой порукой. Хрупкое и ослепительное, как сатурново кольцо, вещество реяло вокруг массивного черного стола.

К десерту потребовали три бутылки игристого Сен-Перай.

— Где они?

— Куда запропастились три бутылки Сен-Перай?

— Это идиотично!

— Кто их принес?

— Брудье.

— Ничего подобного! Лесюер!

— Я? У меня были тарелки.

— Значит, Бенен!

— Что ты с ними сделал?

— Я хорошо помню, что пошел вместе с Лесюером поставить их куда-нибудь в прохладное место. Но куда именно, забыл. А ты, Лесюер, не помнишь?

— Помню только, что их сунули куда-то в воду под кустом... и даже...

— Что ты там плетешь?

— Собственно говоря... собственно говоря... я послал их за водой для кухни... ну, а они захватили с собой три бутылки...

— Да, мы положили их в воду... это испытанный способ... выходит в роде замороженного шампанского.

— Но где же они, чорт возьми?

— Где-нибудь поблизости, наверное... не думаю, чтоб они уползли сами...

— Ты издеваешься над нами! Дело не шуточное!

— Полно! Не сердись... Пойдем, Лескер... так и быть, поищем!

— Иди сам!

— Что ты, что ты?... Один я не найду их до завтра...

* * *

Игристое Сен-Перай отрезвило умы. Оно прибавило жару, но прояснило головы.

Странное, безыменное чувство нахлынуло на оборотов; однако, в нем было нечто повелительное: оно требовало к себе величайшего внимания. Это чувство можно было определить как потребность абсолютного единения и душевной ясности.

Понемногу, они осознали, что им хочется услышать определенные слова, что какая-то речь может успокоить их смятение.

Если бы некоторые вещи не были высказаны этой же ночью, потом для них было бы уже поздно.

Если бы тут же не были выявлены и установлены известные обстоятельства, они бы потерялись навсегда.

Воистину, это была жизненно-важная потребность: с ней нельзя было лукавить, ее нельзя было усыпить, нельзя было ее задобрить, ибо лихорадочную свою настойчивость она черпала из понятия самой смерти.

Бенен сам не помнил, как он встал. Он поглядел перед собою, поглядел кругом, но уже не различал людей чувственным зрением; он проникал в них каким-то ясновиденьем.

Таким образом, в сознании его сложилось совершенное и как бы эмблематическое виденье, куда входили два ряда черных сосен, просвет дороги, бесконечное небо и насквозь прозрачные, без недомолвок, души.

— Друзья, — начал он, — все это не может низменно завершиться в молчаньи и чревоугодьи. Я буду краток, потому что я пьян. Но вы сами понимаете, что кто-нибудь должен говорить.

„Если в слове „торжественность“ есть какой-нибудь смысл, то в моей жизни и, полагаю, в вашей нет ничего более торжественного, чем этот ужин.

„Не буду объяснять вам вещей и без того для вас очевидных. Но я должен их перечислить, назвать, чтобы они сами о себе свидетельствовали.

„Я оставляю в стороне обыденные побуждения радости и гордости. Не стану вам напоминать о достижениях вашей ловкости и доблести, которыми другие кичились бы на вашем месте. Ибо все мы, друзья мои, в эту минуту могли сидеть под замком. Случись это, и мы — как мрачные рыболовы, занялись бы вылавливаньем артишоков из тюремного котла. Как никак приятно сейчас подумать о возможности такого поворота событий. Да, друзья, испытайте заслуженный вами трепет безопасности. Не прошло и восьми дней с тех пор, как Амбер и Иссуар содрогались под вашими ударами. Не прошло и восьми дней с тех пор, как вы подрывали основы нравственности общества и Пюи-де-Дом'а. И в то время, как ваши печальные жертвы, шлепнувшись задом на землю, старались поймать хоть тень руки, которая их трепала, вы пьете и едите в Севеннском лесу. Разве вы не слышите в тридцати лье отсюда,

за гребнем гор, вопли генералов, епископов и чиновников? Вы их слышите. Конечно, вы слышите, как взывала эта разлюбезная сволочь. Лучше всяких яств поднятая нами буча украшает наш праздник.

Он поднял бокал и отпил глоток. Поглядел—попробовал различить очертанья вещей и людей. Но все показалось ему отдаленным и выпреним. Все предметы, как бы освобожденные от своего стержня, казались ему символами и уликами сверхчувственного заговора. Даже закругление его бокала! Даже искрящиеся пузырьки вина в бокале! Он знал, что все это означает. Он мог это объяснить.

Листья взмыли под набевавшим ветром. Бенен приобщился к шуму листьев и продолжал:

— В вашем лице я преклоняюсь перед мощью разрушения и созидания, которые чередуются и дополняют друг друга. Вы создали Амбер, вы разрушили Иссаур. Это непререкаемые факты. Таким образом, вы сравнялись с величайшими людьми, с теми, кто опрокидывал и призывал к жизни государства.

„Но все это бирюльки!.. детская игра! Вы восстановили действие, как таковое. С сотворения мира — вы видите я веду счет не со вчерашнего дня — действие, как таковое, упразднено. Воцарилась шумная деятельность—незаконорожденный отпрыск чистого действия... Вы восстановили действие, как таковое. Александр Македонский, Аттила, Наполеон и еще кое-кто пытались это сделать и до вас,—но без упорства последовательности, без ясной сознательности, я сказал бы, даже без необходимых данных. И так как сотворение мира с каждым днем представляется все более неправдоподобным, я позволю себе спросить: уж не являетесь ли вы дерзкими зачинателями, а не скромными продолжателями традиций?

„Ах, друзья, мои до чего все это утешительно! Человеческое смятенье всегда удручало мудрецов, и все они

изощрались, избобличая суетную природу целей, к которым так лихорадочно стремятся люди. Но мудрецы минувших веков размышляли с оглядкой на бога. И вот, в эпоху, когда страсти человеческие достигли высшего напряжения, когда их свистящий полет становится все безумнее и быстрее, мы перестаем верить в единственное существо, неколпаченное делом рук своих. Благословенны вы за то, что возвращаете нам ясность и бодрость оптимизма. С бесстыдной смелостью вы насладились игрой с реальными вещами. Из самого серьезного и священного, что есть у людей, вы создали забаву, выточили игральные шашки. Вы, без намека на разумную последовательность, нанизали одно к другому звенья благодатных событий. Между вещами вы утвердили отношения, какие вам заблагорассудилось. Природе вы предписали законы — временные законы.

„Чистое действие! Самодовлеющая сущность! Что может быть свободнее тебя? Ты не знаешь над собой устава — даже ярма собственной цели! И все же ты не противоречишь року! Рок — в таинственной согласии с твоими прихотями. Вспомните предсказания моего сомнамбула с бронзовыми икрами, вспомните другого оракула — скромного Боттена.

„Но я еще не перечислил всех ваших атрибутов. С сегодняшнего вечера вы обладаете еще одним: совершенным единством. Оно складывалось медленно. Я следил за его прорастаньем. Сегодня вечером — тут нечего скрывать — вы единое божество в семи лицах.

„Это исключительно выигрышное положение. Выше голову, друзья, как это делаю я, рискуя опорочить с трудом сдерживаемый пафос. Взгляните на обступившее вас со всех сторон пространство, на лес, на землю, на звезды! Взгляните на то, что лежит вне вас!

Ветер улегся, шум в листьях оборвался, огонь в доме заглох. Все растворилось в великолепном молчаньи.

Даже звезды казались застольными огнями.

— Где найти, этой ночью, соответствие, равноценное миру, который вы в себя впитали? От испарений Млечного Пути до косноязычных снов казармы, от марсианских морей до сутолоки Уолл-Стрита, — где отыщется достойное соперничать с вами божество? Пейте и беспечно веселитесь! Никто не оспаривает вашего могущества.

„Не говорите мне: „А что будет завтра?“ Если вы думаете о будущем, значит, вы существуете с недостаточной полнотой, значит, вы страдаете каким-то изъяном. Прочь оскорбительное предположение! Для бога нет другой вечности, кроме вневременной.

„Итак, приветствую тебя, единое божество, всеми семью твоими именами: Омер, Ламенден, Брудье, Бенен, Мартен, Гюшон, Лесюер!

„И поднимаю бокал...

Но он поднял его так неуверенно, что все игристое Сен-Перай пролилось на голову Лесюеру, который зафыркал, отряхиваясь, как пудель под ушатом воды.

Ламенден, сидевший напротив, расхохотался, и нос его трясся от кончика до переносицы.

Засмеялся Гюшон, потом Брудье, потом Омер, за ним Мартен.

И сам Бенен смеялся так громко, что отрыгнул в бокал.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТФ.
I. Ужин	5
II. Оборот	35
III. Два оборота	51
IV. Сначала три, потом все обороты	69
V. Сотворение Амбера	77
VI. Грехопадение Амбера	96
VII. Разрушение Исуара	109
VIII. Обороты	116

ЛЕНГИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, ДОМ КНИГИ, Проспект 25 Октября, 28. Тел. 132-44, 570-14.

Москва, Тверская, 51. Тел. 3-92-07, 4-90-35.

Серия „НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“

- Дюамель, Жорж. — Полуночная исповедь. Пер. и предисл. В. Вейдле.
Стр. 183. Ц. 75 к.
- Кальтнекер, Т. — Рудник. Драма в трех действиях. Перевод с немецкого В. Гельмерсена, с предисловием А. Пиотровского. Стр. 76.
Ц. 50 к.
- Лондон, Джек. — Рассказы о смельчаках. Пер. с англ. В. А. Азова и А. Н. Горлина. Стр. 116. Ц. 45 к.
- Маркс, Мадлен. — Женщина. Предисл. А. Барбюса, пер. М. Елагиной. Под ред. В. А. Азова. Стр. 220. Ц. 50 к.
- Метерлинк, М. — Белая невеста (Помолвка). Перев. Н. Эфрос под редакцией М. Л. Лозинского. Стр. 136. Ц. 40 к.
- Мэйзфильд, Д. — Пьесы. Перев. З. А. Венгеровой и О. И. Поддячей. Предисл. и редакция К. Чуковского. Стр. 142. Ц. 45 к.
- О'Нилль, Юджин. — Волосатая обезьяна. Комедия древности и современности в восьми сценах. Пер. с англ. М. Г. Волосова, под ред. А. Н. Горлина. Стр. 83. Ц. 50 к.
- Роллан, Р. — Клерамбо. Перев. Э. Л. Вейнбаум. Редакция В. Азова. Стр. 335. Ц. 75 к.
- Роллан, Р. — Кола Бренъон. Перев. Елагиной. Под редакцией Н. О. Пернера. Изд. 2-е. Стр. 264. Ц. 70 к.
- Ромэн, Жюль. — Преображенный град. Пер. О. Я. Скитальца-Яковлева, под ред. Инн. Оксенова. Стр. 47. Ц. 20 к.
- Трессол, Роберт. — Филантропы в рваных штанах. Перевод с английского Э. Выгодской, под редакцией А. Н. Горлина. Стр. 325. Ц. 1 р.
- Чапек, Карел. — „Вур“. Верстандовы универсальные работари. Утопическая социальная драма в 3 действиях с прологом. Перевод И. Мандельштама и Е. Геркена. Стр. 135. Ц. 70 к.
- Энгельке, Г. — Ритмы новой Европы. Перевел Вл. Пяст. Стр. 93. Ц. 50 к.
- Д'Эсм, Жан. — Красные боги. Пер. с франц. Б. Лившица. Стр. 307. Ц. 1 р.

Цена 80 к.

2 -
5842/663

~~25к~~

1966
10

V. K.
P. M.